

SENILIA СТИХОТВОРЕНИЯ В ПРОЗЕ — текст 3 из 3

Добрый мой читатель, не пробегай этих стихотворений сподряд: тебе, вероятно, скучно станет и книга вывалится у тебя из рук. Но читай их враздробь: сегодня одно, завтра другое, и которое-нибудь из них, может быть, заронит тебе что-нибудь в душу.

Последний день июня месяца; на тысячу верст кругом Россия родной край. Ровной синевой залито всё небо; одно лишь облачко на нем не то плывет, не то тает. Безветрие, теплынь... воздух молоко парное!

Жаворонки звенят; воркуют зобастые голуби; молча реют ласточки; лошади фыркают и жуют; собаки не лают и стоят, смирно повиливая хвостами.

И дымком-то пахнет, и травой и дегтем маленько и маленько кожей.

Конопляники уже вошли в силу и пускают свой тяжелый, но приятный дух.

Глубокий, но пологий овраг. По бокам в несколько рядов головастые, книзу исщепленные ракиты. По оврагу бежит ручей; на дне его мелкие камешки словно дрожат сквозь светлую рябь. Вдали, на конце-крае земли и неба синеватая черта большой реки.

Вдоль оврага по одной стороне опрятные амбарчики, клетушки с плотно закрытыми дверями; по другой стороне пять-шесть сосновых изб с тесовыми крышами. Над каждой крышей высокий шест скворечницы; над каждым крылечком вырезной железный крутогривый конек. Неровные стекла окон отливают цветами радуги. Кувшины с букетами намалеваны на ставнях. Перед каждой избой чинно стоит исправная лавочка; на завалинках кошки свернулись клубочком, насторожив прозрачные ушки; за высокими порогами прохладно темнеют сени.

Я лежу у самого края оврага на разостланной попоне; кругом целые вороха только что скошенного, до истомы душистого сена. Догадливые хозяева разбросали сено перед избами: пусть еще немного посохнет на припеке, а там и в сарай! То-то будет спать на нем славно!

Курчавые детские головки торчат из каждого вороха; хохлатые курицы ищут в сене мошек да букашек; белогубый щенок барахтается в спутанных былинках. Русокудрые парни, в чистых низко подпоясанных рубахах, в тяжелых сапогах с оторочкой, перекидываются бойкими словами, опершись грудью на отпряженную телегу, зубоскалят.

Из окна выглядывает круглолицая молодка; смеется не то их словам, не то возне ребят в наваленном сене.

Другая молодка сильными руками тащит большое мокрое ведро из колодца...

Ведро дрожит и качается на веревке, роняя длинные огнистые капли.
Передо мной стоит старуха-хозяйка в новой клетчатой паневе, в новых котах.
Крупные дутые бусы в три ряда обвилились вокруг смуглой худой шеи; седая голова повязана желтым платком с красными крапинками; низко навис он над потускневшими глазами.

Но приветливо улыбаются старческие глаза; улыбается всё морщинистое лицо. Чай, седьмой десяток доживает старушка... а и теперь еще видать: красавица была в свое время!

Растопырив загорелые пальцы правой руки, держит она горшок с холодным неснятым молоком, прямо из погреба; стенки горшка покрыты росинками, точно бисером. На ладони левой руки старушка подносит мне большой ломоть еще теплого хлеба. Кушай, мол, на здоровье, заезжий гость!

Петух вдруг закричал и хлопотливо захлопал крыльями; ему в ответ, не спеша, промычал запертой теленок.

Ай да овес! слышится голос моего кучера.

О, довольство, покой, избыток русской вольной деревни! О, тишь и благодать!
И думается мне: к чему нам тут и крест на куполе Святой Софии в Царь-Граде и всё, чего так добиваемся мы, городские люди?

Ни на Юнгфрау, ни на Финстерааргорне еще не бывало человеческой ноги.
Вершины Альп... Целая цепь крутых уступов... Самая сердцевина гор.
Над горами бледно-зеленое, светлое, немое небо. Сильный, жесткий мороз; твердый, искристый снег; из-под снега торчат суровые глыбы обледенелых, обветренных скал.

Две громады, два великана вздымаются по обеим сторонам небосклона:
Юнгфрау и Финстерааргорн.

И говорит Юнгфрау соседу:

Что скажешь нового? Тебе видней. Что там внизу?

Проходят несколько тысяч лет одна минута. И грохочет в ответ
Финстерааргорн:

Сплошные облака застилают землю... Погоди!

Проходят еще тысячелетия одна минута.

Ну, а теперь? спрашивает Юнгфрау.

Теперь вижу; там внизу всё то же: пестро, мелко. Воды синеют; чернеют леса; сереют груды скученных камней. Около них всё еще копошатся козявки, знаешь, те двуножки, что еще ни разу не могли осквернить ни тебя, ни меня.
Люди?

Да; люди.

Проходят тысячи лет одна минута.

Ну, а теперь? спрашивает Юнгфрау.

Как будто меньше видать козявок, гремит Финстерааргорн. Яснее стало внизу; сузились воды; поредели леса.

Прошли еще тысячи лет одна минута.

Что ты видишь? говорит Юнгфрау.

Около нас, вблизи, словно прочистилось, отвечает Финстерааргорн, ну, а там, вдали, по долинам есть еще пятна и шевелится что-то.

А теперь? спрашивает Юнгфрау, спустя другие тысячи лет одну минуту.

Теперь хорошо, отвечает Финстерааргорн, опрятно стало везде, бело совсем, куда ни глянь... Везде наш снег, ровный снег и лед. Застыло всё. Хорошо теперь, спокойно.

Хорошо, промолвила Юнгфрау. Однако довольно мы с тобой поболтали, старик. Пора вздремнуть.

Пора.

Спят громадные горы; спит зеленое светлое небо над навсегда замолкшей землей.

Я шел по широкому полю, один.

И вдруг мне почудились легкие, осторожные шаги за моей спиной... Кто-то шел по моему следу.

Я оглянулся и увидел маленькую, сгорбленную старушку, всю закутанную в серые лохмотья. Лицо старушки одно виднелось из-под них: желтое, морщинистое, востроносое, беззубое лицо.

Я подошел к ней... Она остановилась.

Кто ты? Чего тебе нужно? Ты нищая? Ждешь милостыни?

Старушка не отвечала. Я наклонился к ней и заметил, что оба глаза у ней были застланы полупрозрачной, беловатой перепонкой, или плевой, какая бывает у иных птиц: они защищают ею свои глаза от слишком яркого света. Но у старушки та плева не двигалась и не открывала зениц... из чего я заключил, что она слепая.

Хочешь милостыни? повторил я свой вопрос. Зачем ты идешь за мною? Но старушка по-прежнему не отвечала, а только съежилась чуть-чуть.

Я отвернулся от нее и пошел своей дорогой.

И вот опять слышу я за собою те же легкие, мерные, словно крадущиеся шаги. Опять эта женщина! подумалось мне. Что она ко мне пристала? Но я тут же мысленно прибавил: Вероятно, она сослепу сбилась с дороги, идет теперь по слуху за моими шагами, чтобы вместе со мною выйти в жилое место. Да, да; это так.

Но странное беспокойство понемногу овладело моими мыслями: мне начало казаться, что старушка не идет только за мною, но что она направляет меня,

что она меня толкает то направо, то налево, и что я невольно повинуюсь ей. Однако я продолжаю идти... Но вот впереди на самой моей дороге что-то чернеет и ширится... какая-то яма... Могила! сверкнуло у меня в голове. Вот куда она толкает меня!

Я круто поворачиваю назад... Старуха опять передо мною... но она видит! Она смотрит на меня большими, злыми, зловещими глазами... глазами хищной птицы... Я надвигаюсь к ее лицу, к ее глазам... Опять та же тусклая плева, тот же слепой и тупой облик...

Ах! думаю я... эта старуха моя судьба. Та судьба, от которой не уйти человеку! Не уйти! не уйти! Что за сумасшествие?.. Надо попытаться. И я бросаюсь в сторону, по другому направлению.

Я иду проворно... Но легкие шаги по-прежнему шелестят за мною, близко, близко... И впереди опять темнеет яма.

Я опять поворачиваю в другую сторону... И опять тот же шелест сзади и то же грозное пятно впереди.

И куда я ни мечусь, как заяц на угонках... всё то же, то же!

Стой! думаю я. Обману ж я ее! Не пойду я никуда! и я мгновенно сажусь на землю.

Старуха стоит позади, в двух шагах от меня. Я ее не слышу, но я чувствую, что она тут.

И вдруг я вижу: то пятно, что чернело вдали, плывет, ползет само ко мне!

Боже! Я оглядываюсь назад... Старуха смотрит прямо на меня и беззубый рот скривлен усмешкой...

Не уйдешь!

Нас двое в комнате: собака моя и я. На дворе воет страшная, неистовая буря. Собака сидит передо мною и смотрит мне прямо в глаза.

И я тоже гляжу ей в глаза.

Она словно хочет сказать мне что-то. Она немая, она без слов, она сама себя не понимает но я ее понимаю.

Я понимаю, что в это мгновенье и в ней и во мне живет одно и то же чувство, что между нами нет никакой разницы. Мы тождественны; в каждом из нас горит и светится тот же трепетный огонек.

Смерть налетит, махнет на него своим холодным широким крылом...

И конец!

Кто потом разберет, какой именно в каждом из нас горел огонек?

Нет! это не животное и не человек меняются взглядами...

Это две пары одинаковых глаз устремлены друг на друга.

И в каждой из этих пар, в животном и в человеке одна и та же жизнь жметя пугливо к другой.

У меня был товарищ соперник; не по занятиям, не по службе или любви; но наши воззрения ни в чем не сходились, и всякий раз, когда мы встречались, между нами возникали нескончаемые споры.

Мы спорили обо всем: об искусстве, о религии, о науке, о земной и загробной особенно о загробной жизни.

Он был человек верующий и восторженный. Однажды он сказал мне:

Ты надо всем смеешься; но если я умру прежде тебя, то я явлюсь к тебе с того света... Увидим, засмеешься ли ты тогда?

И он, точно, умер прежде меня, в молодых летах еще будучи; но прошли года и я позабыл об его обещании, об его угрозе.

Раз, ночью, я лежал в постели и не мог, да и не хотел заснуть.

В комнате было ни темно, ни светло; я принялся глядеть в седой полумрак.

И вдруг мне почудилось, что между двух окон стоит мой соперник и тихо и печально качает сверху вниз головою.

Я не испугался даже не удивился... но, приподнявшись слегка и опершись на локоть, стал еще пристальнее глядеть на неожиданно появившуюся фигуру.

Тот продолжал качать головою.

Что? промолвил я наконец. Ты торжествуешь? или жалеешь? Что это:

предостережение или упрек?... Или ты мне хочешь дать понять, что ты был неправ? что мы оба неправы? Что ты испытываешь? Муки ли ада? Блаженство ли рая? Промолви хоть слово!

Но мой соперник не издал ни единого звука и только по-прежнему печально и покорно качал головою сверху вниз.

Я засмеялся... он исчез.

Я проходил по улице... меня остановил нищий, дряхлый старик.

Воспаленные, слезливые глаза, посинелые губы, шершавые лохмотья, нечистые раны... О, как безобразно обглодала бедность это несчастное существо!

Он протягивал мне красную, опухшую, грязную руку... Он стонал, он мычал о помощи.

Я стал шарить у себя во всех карманах... Ни кошелька, ни часов, ни даже платка... Я ничего не взял с собою.

А нищий ждал... и протянутая его рука слабо колыхалась и вздрагивала.

Потерянный, смущенный, я крепко пожал эту грязную, трепетную руку...

Не взыщи, брат; нет у меня ничего, брат.

Нищий уставил на меня свои воспаленные глаза; его синие губы усмехнулись и он в свою очередь стиснул мои похолодевшие пальцы.

Что же, брат, прощамкал он, и на том спасибо. Это тоже подаяние, брат.

Я понял, что и я получил подаяние от моего брата.

Ты всегда говорил правду, великий наш певец; ты сказал ее и на этот раз.
Суд глупца и смех толпы... Кто не изведал и того и другого?

Всё это можно и должно переносить; а кто в силах пусть презирает!
Но есть удары, которые больнее бьют по самому сердцу. Человек сделал всё что мог; работал усиленно, любовно, честно... И честные души гадливо отворачиваются от него; честные лица загораются негодованием при его имени.

Удались! Ступай вон! кричат ему честные молодые голоса. Ни ты нам не нужен, ни твой труд; ты оскверняешь наше жилище ты нас не знаешь и не понимаешь... Ты наш враг!

Что тогда делать этому человеку? Продолжать трудиться, не пытаться оправдываться и даже не ждать более справедливой оценки.

Некогда землепашцы проклинали путешественника, принесшего им картофель, замену хлеба, ежедневную пищу бедняка. Они выбивали из протянутых к ним рук драгоценный дар, бросали его в грязь, топтали ногами. Теперь они питаются им и даже не ведают имени своего благодетеля.
Пускай! На что им его имя? Он, и безымянный, спасает их от голода.
Будем стараться только о том, чтобы приносимое нами было точно полезною пищей.

Горька неправая укоризна в устах людей, которых любишь... Но перенести можно и это...

Бей меня! но выслушай! говорил афинский вождь спартанскому.
Бей меня но будь здоров и сыт! должны говорить мы.

По улице столицы мчится вприпрыжку молодой еще человек. Его движения веселы, бойки; глаза сияют, ухмыляются губы, приятно алеет умиленное лицо... Он весь довольство и радость.

Что с ним случилось? Досталось ли ему наследство? Повысили ли его чином? Спешит ли он на любовное свиданье? Или просто он хорошо позавтракал и чувство здоровья, чувство сытой силы взыграло во всех его членах? Уж не возложили ли на его шею твой красивый осьмиугольный крест, о польский король Станислав!

Нет. Он сочинил клевету на знакомого, распространил ее тщательно, услышал ее, эту самую клевету, из уст другого знакомого и сам ей поверил.

О, как доволен, как даже добр в эту минуту этот милый, многообещающий молодой человек!

Если вы желаете хорошенько насолить и даже повредить противнику, говорил мне один старый пройдоха, то упрекайте его в том самом недостатке или пороке, который вы за собою чувствуете. Негодуйте... и упрекайте!
Во-первых это заставит других думать, что у вас этого порока нет.

Во-вторых негодование ваше может быть даже искренним... Вы можете воспользоваться укорами собственной совести.

Если вы, например, ренегат, упрекайте противника в том, что у него нет убеждений!

Если вы сами лакей в душе, говорите ему с укоризной, что он лакей... лакей цивилизации, Европы, социализма!

Можно даже сказать: лакей безлакейства! заметил я.

И это можно, подхватил пройдоха.

Чудилось мне, что я нахожусь где-то в России, в глуши, в простом деревенском доме.

Комната большая, низкая, в три окна; стены вымазаны белой краской; мебели нет. Перед домом голая равнина; постепенно понижаясь, уходит она вдаль; серое, одноцветное небо висит над нею как полог.

Я не один; человек десять со мною в комнате. Люди всё простые, просто одетые; они ходят вдоль и поперек, молча, словно крадучись. Они избегают друг друга и, однако, беспрестанно меняются тревожными взорами.

Ни один не знает: зачем он попал в этот дом и что за люди с ним? На всех лицах беспокойство и унылость... все поочередно подходят к окнам и внимательно оглядываются, как бы ожидая чего-то извне.

Потом опять принимаются бродить вдоль и поперек. Между нами вертится небольшого росту мальчик; от времени до времени он пищит тонким, однозвучным голоском: Тятенька, боюсь! Мне тошно на сердце от этого писку и я тоже начинаю бояться... чего? не знаю сам. Только я чувствую: идет и близится большая, большая беда.

А мальчик нет, нет да запищит. Ах, как бы уйти отсюда! Как душно! Как томно! Как тяжело!.. Но уйти невозможно.

Это небо точно саван. И ветра нет... Умер воздух, что ли?

Вдруг мальчик подскочил к окну и закричал тем же жалобным голосом: Гляньте! гляньте! земля провалилась!

Как? провалилась?!

Точно: прежде перед домом была равнина, а теперь он стоит на вершине страшной горы! Небосклон упал, ушел вниз, а от самого дома спускается почти отвесная, точно разрытая, черная круча.

Мы все столпились у окон... Ужас леденит наши сердца.

Вот оно... вот оно! шепчет мой сосед.

И вот вдоль всей далекой земной грани зашевелилось что-то, стали подниматься и падать какие-то небольшие кругловатые бугорки.

Это море! подумалось всем нам в одно и то же мгновение. Оно сейчас нас всех

затопит... Только как же оно может расти и подниматься вверх? На эту кручу? И, однако, оно растет, растет громадно... Это уже не отдельные бугорки мечутся вдали... Одна сплошная чудовищная волна обхватывает весь круг небосклона.

Она летит, летит на нас! Морозным вихрем несется она, крутится тьмой крошечной. Всё задрожало вокруг а там, в этой налетающей громаде, и треск, и гром, и тысячегортанный, железный лай...

Га! Какой рев и вой! Это земля завывала от страха...

Конец ей! Конец всему!

Мальчик пискнул еще раз... Я хотел было ухватиться за товарищей, но мы уже все раздавлены, погребены, потоплены, унесены той, как чернила черной, льдистой, грохочущей волной!

Темнота... темнота вечная!

Едва переводя дыхание, я проснулся.

Проживая много лет тому назад в Петербурге, я, всякий раз как мне случалось нанимать извозчика, вступал с ним в беседу.

Особенно любил я беседовать с ночными извозчиками, бедными подгородными крестьянами, прибывавшими в столицу с окрашенными вохрой санишками и плохой клячонкой в надежде и самим прокормиться и собрать на оброк господам.

Вот однажды нанял я такого извозчика... Парень лет двадцати, рослый, статный, молодец молодцом; глаза голубые, щеки румяные; русые волосы вьются колечками из-под надвинутой на самые брови заплатанной шапонишки.

И как только налез этот рваный армячишко на эти богатырские плеча!

Однако красивое безбородое лицо извозчика казалось печальным и хмурым.

Разговорился я с ним. И в голосе его слышалась печаль.

Что, брат? спросил я его. Отчего ты не весел? Али горе есть какое?

Парень не тотчас отвечал мне.

Есть, барин, есть, промолвил он наконец. Да и такое, что лучше быть не надо.

Жена у меня померла.

Ты ее любил... жену-то свою?

Парень не обернулся ко мне; только голову наклонил немного.

Любил, барин. Восьмой месяц пошел... а не могу забыть. Гложет мне сердце... да и ну! И с чего ей было помирать-то? Молодая! здоровая!.. В один день холера порешила.

И добрая она была у тебя?

Ах, барин! тяжело вздохнул бедняк. И как же дружно мы жили с ней! Без меня скончалась. Я как узнал здесь, что ее, значит, уже похоронили, сейчас в деревню поспешил, домой. Приехал а уж за полночь стало. Вошел я к себе в

избу, остановился посередке и говорю так-то тихохонько: Маша! а Маша! Только сверчок трещит. Заплакал я тутотка, сел на избяной пол да ладонью по земле как хлопну! Ненасытная, говорю, утроба!.. Сожрала ты ее... сожри ж и меня! Ах, Маша!

Маша! прибавил он внезапно упавшим голосом. И, не выпуская из рук веревочных вожжей, он выдавил рукавицей из глаз слезу, стряхнул ее, сбросил в сторону, повел плечами и уж больше не произнес ни слова. Слезая с саней, я дал ему лишний пятиалтынный. Он поклонился мне низехонько, взявшись обеими руками за шапку, и поплелся шажком по снежной скатерти пустынной улицы, залитой седым туманом январского мороза.

Жил-был на свете дурак.

Долгое время он жил припеваючи; но понемногу стали доходить до него слухи, что он всюду слывет за безмозглого пошлеца.

Смутился дурак и начал печалиться о том, как бы прекратить те неприятные слухи?

Внезапная мысль озарила наконец его темный умишко... И он, нимало не медля, привел ее в исполнение.

Встретился ему на улице знакомый и принялся хвалить известного живописца...

Помилуйте! воскликнул дурак. Живописец этот давно сдан в архив... Вы этого не знаете? Я от вас этого не ожидал... Вы отсталый человек.

Знакомый испугался и тотчас согласился с дураком.

Какую прекрасную книгу я прочел сегодня! говорил ему другой знакомый.

Помилуйте! воскликнул дурак. Как вам не стыдно? Никуда эта книга не годится; все на нее давно махнули рукою. Вы этого не знаете? Вы отсталый человек.

И этот знакомый испугался и согласился с дураком.

Что за чудесный человек мой друг N. N.! говорил дураку третий знакомый.

Вот истинно благородное существо!

Помилуйте! воскликнул дурак. N. N. заведомый подлец! Родню всю ограбил.

Кто ж этого не знает? Вы отсталый человек!

Третий знакомый тоже испугался и согласился с дураком, отступился от друга.

И кого бы, что бы ни хвалили при дураке у него на всё была одна отповедь.

Разве иногда прибавит с укоризной:

А вы всё еще верите в авторитеты?

Злюка! Желчевик! начинали толковать о дураке его знакомые. Но какая голова!

И какой язык! прибавляли другие. О, да он талант!

Кончилось тем, что издатель одной газеты предложил дураку заведовать у него критическим отделом.

И дурак стал критиковать всё и всех, нисколько не меняя ни манеры своей, ни своих восклицаний.

Теперь он, кричавший некогда против авторитетов, сам авторитет и юноши перед ним благоговеют и боятся его.

Да и как им быть, бедным юношам? Хотя и не следует, вообще говоря, благоговеть... но тут, поди, не возблагодарив в отсталые люди попадаешь! Житье дуракам между трусами.

Кто в Багдаде не знает великого Джаффар, солнца вселенной?

Однажды, много лет тому назад, он был еще юношей, прогуливался Джаффар в окрестностях Багдада.

Вдруг до слуха его долетел хриплый крик: кто-то отчаянно взывал о помощи. Джаффар отличался между своими сверстниками благоразумием и обдуманностью; но сердце у него было жалостливое и он надеялся на свою силу.

Он побежал на крик и увидел дряхлого старика, притиснутого к городской стене двумя разбойниками, которые его грабили.

Джаффар выхватил свою саблю и напал на злодеев: одного убил, другого прогнал.

Освобожденный старец пал к ногам своего избавителя и, облобызав край его одежды, воскликнул:

Храбрый юноша, твое великодушие не останется без награды. На вид я убогий нищий; но только на вид. Я человек не простой. Приходи завтра ранним утром на главный базар; я буду ждать тебя у фонтана и ты убедишься в справедливости моих слов.

Джаффар подумал: На вид человек этот нищий, точно; однако всяко бывает. Отчего не попытаться? и отвечал:

Хорошо, отец мой; приду.

Старик взглянул ему в глаза и удалился.

На другое утро, чуть забрезжил свет, Джаффар отправился на базар. Старик уже ожидал его, облокотясь на мраморную чашу фонтана.

Молча взял он Джаффара за руку и привел его в небольшой сад, со всех сторон окруженный высокими стенами.

По самой середине этого сада, на зеленой лужайке, росло дерево необычайного вида.

Оно походило на кипарис; только листва на нем была лазоревого цвета.

Три плода три яблока висело на тонких, кверху загнутых ветках; одно средней величины, продолговатое, молочно-белое; другое большое, круглое, ярко-красное; третье маленькое, сморщенное, желтоватое.

Всё дерево слабо шумело, хоть и не было ветра. Оно звенело тонко и жалобно, словно стеклянное; казалось, оно чувствовало приближение Джаффар.

Юноша! промолвил старец. Сорви любой из этих плодов и знай: сорвешь и съешь белый будешь умнее всех людей; сорвешь и съешь красный будешь богат, как еврей Ротшильд; сорвешь и съешь желтый будешь нравиться старым женщинам. Решайся!.. и не мешкай. Через час и плоды завянут, и само дерево уйдет в немую глубь земли!

Джаффар понурил голову и задумался.

Как тут поступить? произнес он вполголоса, как бы рассуждая сам с собою.

Сделаешься слишком умным пожалуй, жить не захочется; сделаешься богаче всех людей будут все тебе завидовать; лучше же я сорву и съем третье, сморщенное яблоко!

Он так и поступил; а старец засмеялся беззубым смехом и промолвил:

О мудрейший юноша! Ты избрал благую часть! На что тебе белое яблоко? Ты и так умнее Соломона. Красное яблоко также тебе не нужно... И без него ты будешь богат. Только богатству твоему никто завидовать не станет.

Поведай мне, старец, промолвил, встрепenuвшись, Джаффар, где живет почтенная мать нашего богоспасаемого халифа?

Старик поклонился до земли и указал юноше дорогу.

Кто в Багдаде не знает солнца вселенной, великого, знаменитого Джаффар?

Существовал некогда город, жители которого до того страстно любили поэзию, что если проходило несколько недель и не появлялось новых прекрасных стихов, они считали такой поэтический неурожай общественным бедствием.

Они надевали тогда свои худшие одежды, посыпали пеплом головы и, собираясь толпами на площадях, проливали слезы, горько роптали на музу, покинувшую их.

В один подобный злополучный день молодой поэт Юний появился на площади, переполненной скорбевшим народом.

Проворными шагами взобрался он на особенно устроенный амвон и подал знак, что желает произнести стихотворение.

Ликторы тотчас замахали жезлами.

Молчание! внимание! зычно возопили они и толпа затихла, выжидая.

Друзья! Товарищи! начал Юний громким, но не совсем твердым голосом:

Друзья! Товарищи! Любители стихов!

Поклонники всего, что стройно и красиво!

Да не смущает вас мгновенье грусти темной!

Придет желанный миг... и свет рассеет тьму!

Юний умолк... а в ответ ему, со всех концов площади, поднялся гам, свист, хохот.

Все обращенные к нему лица пылали негодованием, все глаза сверкали злобой, все руки поднимались, угрожали, сжимались в кулаки!

Чем вздумал удивить! ревели сердитые голоса. Долой с амвона бездарного рифмоплета! Вон дурака! Гнилыми яблоками, тухлыми яйцами шута горохового! Подайте камней! Камней сюда!

Кубарем скатился с амвона Юний... но он еще не успел прибежать к себе домой, как до слуха его долетели раскаты восторженных рукоплесканий, хвалебных возгласов и кликов.

Исполненный недоуменья, стараясь, однако, не быть замеченным (ибо опасно раздражать залютевшего зверя), возвратился Юний на площадь.

И что же он увидел?

Высоко над толпою, над ее плечами, на золотом плоском щите, облеченный пурпурной хламидой, с лавровым венком на взвившихся кудрях, стоял его соперник, молодой поэт Юлий... А народ вопил кругом:

Слава! Слава! Слава бессмертному Юлию! Он утешил нас в нашей печали, в нашем горе великом! Он подарил нас стихами слаще меду, звучнее кимвала, душистее розы, чище небесной лазури! Несите его с торжеством, обдавайте его вдохновенную голову мягкой волной фимиама, прохлаждайте его чело мерным колебанием пальмовых ветвей, расточайте у ног его все благовония аравийских мирр! Слава!

Юний приблизился к одному из славословящих.

Поведай мне, о мой согражданин! какими стихами ошастливил вас Юлий?

Увы! меня не было на площади, когда он произнес их! Повтори их, если ты их запомнил, сделай милость!

Такие стихи да не запомнить? ретиво отвечивал вопрошенный. За кого ж ты меня принимаешь? Слушай и ликуй, ликуй вместе с нами!

Любители стихов! так начал божественный Юлий...

Любители стихов! Товарищи! Друзья!

Поклонники всего, что стройно, звучно, нежно!

Да не смущает вас мгновенье скорби тяжелой!

Желанный миг придет и день прогонит ночь!

Каково?

Помилуй! возопил Юний, да это мои стихи! Юлий, должно быть, находился в толпе, когда я произнес их, он услышал и повторил их, едва изменив, и уж,

конечно, не к лучшему, несколько выражений!

Ага! Теперь я узнаю тебя... Ты Юний, возразил, насупив брови, остановленный им гражданин. Завистник или глупец!.. Сообрази только одно, несчастный! У Юлия как возвышенно сказано: И день прогонит ночь!.. А у тебя чепуха какая-то: И свет рассеет тьму?! Какой свет?! Какую тьму?!

Да разве это не всё едино... начал было Юний...

Прибавь еще слово, перебил его гражданин, я крикну народу... и он тебя растерзает!

Юний благоразумно умолк, а слышавший его разговор с гражданином седовласый старец подошел к бедному поэту и, положив ему руку на плечо, промолвил:

Юний! Ты сказал свое да не вовремя; а тот не свое сказал да вовремя. Следовательно, он прав а тебе остаются утешения собственной твоей совести. Но пока совесть как могла и как умела... довольно плохо, правду сказать утешала прижавшегося к сторонке Юния, вдали, среди грома и плеска ликований, в золотой пыли всепобедного солнца, блистая пурпуром, темнея лавром сквозь волнистые струи обильного фимиама, с величественной медленностью, подобно царю, шествующему на царство, плавно двигалась гордо выпрямленная фигура Юлия... и длинные ветви пальм поочередно склонялись перед ним, как бы выражая своим тихим вздыманьем, своим покорным наклоном то непрестанно возобновлявшееся обожание, которое переполняло сердца очарованных им сограждан!

Я возвращался с охоты и шел по аллее сада. Собака бежала впереди меня. Вдруг она уменьшила свои шаги и начала красться, как бы зачуяв перед собою дичь.

Я глянул вдоль аллеи и увидел молодого воробья с желтизной около клюва и пухом на голове. Он упал из гнезда (ветер сильно качал березы аллеи) и сидел неподвижно, беспомощно растопырив едва прораставшие крылышки.

Моя собака медленно приближалась к нему, как вдруг, сорвавшись с близкого дерева, старый черногрудый воробей камнем упал перед самой ее мордой и весь взъерошенный, искаженный, с отчаянным и жалким писком прыгнул раза два в направлении зубастой раскрытой пасти.

Он ринулся спасать, он заслонил собою свое детище... но всё его маленькое тело трепетало от ужаса, голосок одичал и охрип, он замирал, он жертвовал собою!

Каким громадным чудовищем должна была ему казаться собака! И все-таки он не мог усидеть на своей высокой, безопасной ветке... Сила, сильнее его воли, сбросила его оттуда.

Мой Трезор остановился, попятился... Видно, и он признал эту силу.

Я поспешил отозвать смущенного пса и удалился, благоговей.
Да; не смейтесь. Я благоговел перед той маленькой героической птицей,
перед любовным ее порывом.
Любовь, думал я, сильнее смерти и страха смерти. Только ею, только любовью
держится и движется жизнь.

Роскошная, пышно освещенная зала; множество кавалеров и дам.
Все лица оживлены, речи бойки... Идет трескучий разговор об одной
известной певице. Ее величают божественной, бессмертной... О, как хорошо
пустила она вчера свою последнюю трель!

И вдруг словно по магию волшебного жезла со всех голов и со всех лиц
слетела тонкая шелуха кожи и мгновенно выступила наружу мертвенная
белизна черепов, зарябили синеватым оловом обнаженные десны и скулы.
С ужасом глядел я, как двигались и шевелились эти десны и скулы, как
поворачивались, лоснясь при свете ламп и свечей, эти шишковатые, костяные
шары и как вертелись в них другие, меньшие шары шары обесмысленных
глаз.

Я не смел прикоснуться к собственному лицу, не смел взглянуть на себя в
зеркало.

А черепа поворачивались по-прежнему... И с прежним треском, мелькая
красными лоскуточками из-за оскаленных зубов, проворные языки лепетали о
том, как удивительно, как неподражаемо бессмертная... да, бессмертная
певица пустила свою последнюю трель!

Чернорабочий

Что ты к нам лезешь? Чего тебе надо? Ты не наш... Ступай прочь!

Белоручка

Я ваш, братцы!

Чернорабочий

Как бы не так! Наш! Что выдумал! Посмотри хоть на мои руки. Видишь, какие
они грязные? И навозом от них несет и дегтем а твои вон руки белые. И чем от
них пахнет?

Белоручка (подавая свои руки)

Понюхай.

Чернорабочий (понюхав руки)

Что за притча? словно железом от них отдает.

Белоручка

Железом и есть. Целых шесть лет я на них носил кандалы.

Чернорабочий

А за что же это?

Белоручка

А за то, что я о вашем же добре заботился, хотел освободить вас, серых, темных людей, восставал против притеснителей ваших, бунтовал... Ну, меня и засадили.

Чернорабочий

Засадили? Вольно ж тебе было бунтовать!

Два года спустя

Тот же чернорабочий (другому)

Слышь, Петра!.. Помнишь, позапрошлым летом один такой белоручка с тобой беседовал?

Другой чернорабочий

Помню... а что?

Первый чернорабочий

Его сегодня, слышь, повесят; такой приказ вышел.

Второй чернорабочий

Всё бунтовал?

Первый чернорабочий

Всё бунтовал.

Второй чернорабочий

Да... Ну, вот что, брат Митряй; нельзя ли нам той самой веревочки раздобыть, на которой его вешать будут; говорят, ба-альшее счастье от этого в дому бывает!

Первый чернорабочий

Это ты справедливо. Надо попытаться, брат Петра.

Последние дни августа... Осень уже наступала.

Солнце садилось. Внезапный порывистый ливень, без грома и без молний, только что промчался над нашей широкой равниной.

Сад перед домом горел и дымился, весь залитый пожаром зари и потопом дождя.

Она сидела за столом в гостиной и с упорной задумчивостью глядела в сад сквозь полуоткрытую дверь.

Я знал, что свершалось тогда в ее душе; я знал, что после недолгой, хоть и мучительной, борьбы она в этот самый миг отдавалась чувству, с которым уже не могла более сладить.

Вдруг она поднялась, проворно вышла в сад и скрылась.

Пробил час... пробил другой; она не возвращалась.

Тогда я встал и, выйдя из дому, отправился по аллее, по которой я в том не сомневался пошла и она.

Всё потемнело вокруг; ночь уже надвинулась. Но на сыром песку дорожки, ярко алея даже сквозь разлитую мглу, виднелся кругловатый предмет. Я наклонился... То была молодая, чуть распустившаяся роза. Два часа тому назад я видел эту самую розу на ее груди. Я бережно поднял упавший в грязь цветок и, вернувшись в гостиную, положил его на стол, перед ее креслом. Вот и она вернулась наконец и, легкими шагами пройдя всю комнату, села за стол. Ее лицо и побледнело и ожило; быстро, с веселым смущением бегали по сторонам опущенные, как бы уменьшенные глаза. Она увидела розу, схватила ее, взглянула на ее измятые, запачканные лепестки, взглянула на меня и глаза ее, внезапно остановившись, засияли слезами. О чем вы плачете? спросил я. Да вот об этой розе. Посмотрите, что с ней случилось. Тут я вздумал выказать глубокомыслие. Ваши слезы смоют эту грязь, промолвил я с значительным выражением. Слезы не моют, слезы жгут, отвечала она и, обернувшись к камину, бросила цветок в умиравшее пламя. Огонь сожжет еще лучше слез, воскликнула она не без удали, и прекрасные глаза, еще блестевшие от слез, засмеялись дерзостно и счастливо. Я понял, что и она была сожжена.

На грязи, на вонючей сырой соломе, под навесом ветхого сарая, на скорую руку превращенного в походный военный госпиталь, в разоренной болгарской деревушке с лишком две недели умирала она от тифа. Она была в беспамятстве и ни один врач даже не взглянул на нее; больные солдаты, за которыми она ухаживала, пока еще могла держаться на ногах, поочередно поднимались с своих зараженных логовищ, чтобы поднести к ее запекшимся губам несколько капель воды в черепке разбитого горшка. Она была молода, красива; высший свет ее знал; об ней осведомлялись даже сановники. Дамы ей завидовали, мужчины за ней волочились... два-три человека тайно и глубоко любили ее. Жизнь ей улыбалась; но бывают улыбки хуже слез. Нежное кроткое сердце... и такая сила, такая жажда жертвы! Помогать нуждающимся в помощи... она не ведала другого счастья... не ведала и не изведала. Всякое другое счастье прошло мимо. Но она с этим давно помирилась и вся, пылая огнем неугасимой веры, отдалась на служение ближним.

Какие заветные клады схоронила она там, в глубине души, в самом ее тайнике, никто не знал никогда а теперь, конечно, не узнает.

Да и к чему? Жертва принесена... дело сделано.

Но горестно думать, что никто не сказал спасибо даже ее трупу хоть она сама и стыдилась и чуждалась всякого спасибо.

Пусть же не оскорбится ее милая тень этим поздним цветком, который я осмеливаюсь возложить на ее могилу!

Мы были когда-то короткими, близкими друзьями... Но настал недобрый миг и мы расстались, как враги.

Прошло много лет... И вот, заехав в город, где он жил, я узнал, что он безнадежно болен и желает видеться со мною.

Я отправился к нему, вошел в его комнату... Взоры наши встретились.

Я едва узнал его. Боже! что с ним сделал недуг!

Желтый, высохший, с лысиной во всю голову, с узкой седой бородой, он сидел в одной, нарочно изрезанной рубахе... Он не мог сносить давление самого легкого платья. Порывисто протянул он мне страшно худую, словно обглоданную руку, усиленно прошептал несколько невнятных слов привет ли то был, упрек ли, кто знает? Изможденная грудь заколыхалась и на съёженные зрачки загоревшихся глаз скатились две скупые, страдальческие слезинки.

Сердце во мне упало... Я сел на стул возле него и, опустив невольно взоры перед тем ужасом и безобразием, также протянул руку.

Но мне почудилось, что не его рука взялась за мою.

Мне почудилось, что между нами сидит высокая, тихая, белая женщина.

Длинный покров облекает ее с ног до головы. Никуда не смотрят ее глубокие бледные глаза; ничего не говорят ее бледные строгие губы...

Эта женщина соединила наши руки... Она навсегда примирила нас.

Да... Смерть нас примирила.

Я вижу громадное здание.

В передней стене узкая дверь раскрыта настежь; за дверью угрюмая мгла.

Перед высоким порогом стоит девушка... Русская девушка.

Морозом дышит та непроглядная мгла; и вместе с ледящей струей выносятся из глубины здания медлительный, глухой голос.

О ты, что желаешь переступить этот порог, знаешь ли ты, что тебя ожидает?

Знаю, отвечает девушка.

Холод, голод, ненависть, насмешка, презрение, обида, тюрьма, болезнь и самая смерть?

Знаю.

Отчуждение полное, одиночество?

Знаю. Я готова. Я перенесу все страдания, все удары.

Не только от врагов но и от родных, от друзей?

Да... и от них.

Хорошо. Ты готова на жертву?

Да.

На безымянную жертву? Ты погибнешь и никто... никто не будет даже знать, чью память почтить!

Мне не нужно ни благодарности, ни сожаления. Мне не нужно имени.

Готова ли ты на преступление?

Девушка потупила голову...

И на преступление готова.

Голос не тотчас возобновил свои вопросы.

Знаешь ли ты, заговорил он наконец, что ты можешь разувериться в том, чему веришь теперь, можешь понять, что обманулась и даром погубила свою молодую жизнь?

Знаю и это. И все-таки я хочу войти.

Войди!

Девушка перешагнула порог и тяжелая завеса упала за нею.

Дура! проскрежетал кто-то сзади.

Святая! принеслось откуда-то в ответ.

Я сидел у раскрытого окна... утром, ранним утром первого мая.

Заря еще не занималась; но уже бледнела, уже холодела темная теплая ночь.

Туман не вставал, не бродил ветерок, всё было одноцветно и безмолвно... но чуялась близость пробуждения и в поредевшем воздухе пахло жесткой сыростью росы.

Вдруг в мою комнату, сквозь раскрытое окно, легко позванивая и шурша, влетела большая птица.

Я вздрогнул, взгляделся... То была не птица, то была крылатая маленькая женщина, одетая в тесное, длинное, книзу волнистое платье.

Вся она была серая, перламутрового цвета; одна лишь внутренняя сторона ее крылышек алела нежной алостью распускающейся розы; венчик из ландышей охватывал разбросанные кудри круглой головки и, подобные усикам бабочки, два павлиньих пера забавно колебались над красивым, выпуклым лобиком.

Она пронеслась раза два под потолком; ее крошечное лицо смеялось; смеялись также огромные, черные, светлые глаза.

Веселая резвость прихотливого полета дробила их алмазные лучи.

Она держала в руке длинный стебель степного цветка: царским жезлом зовут

его русские люди, он и то похож на скипетр.

Стремительно пролетая надо мною, коснулась она моей головы тем цветком.

Я рванулся к ней... Но она уже выпорхнула из окна и умчалась.

В саду, в глуши сиреневых кустов, горlinka встретила ее первым воркованьем а там, где она скрылась, молочно-белое небо тихонько покраснелось.

Я узнал тебя, богиня фантазии! Ты посетила меня случайно ты полетела к молодым поэтам.

О поэзия! Молодость! Женская, девственная красота! Вы только на миг можете блеснуть передо мною ранним утром ранней весны!

Высокая костлявая старуха с железным лицом и неподвижно-тупым взором идет большими шагами и сухою, как палка, рукою толкает перед собой другую женщину.

Женщина эта огромного роста, могучая, дебелая, с мышцами, как у Геркулеса, с крохотной головкой на бычачьей шее и слепая в свою очередь толкает небольшую, худенькую девочку.

У одной этой девочки зрячие глаза; она упирается, оборачивается назад, поднимает тонкие, красивые руки; ее оживленное лицо выражает нетерпенье и отвагу... Она не хочет слушаться, она не хочет идти, куда ее толкают... и все-таки должна повиноваться и идти.

Necessitas, Vis, Libertas.

Кому угодно пусть переводит.

Необходимость, Сила, Свобода (лат.).

Вблизи большого города, по широкой проезжей дороге шел старый, больной человек.

Он шатался на ходу; его исхудалые ноги, путаясь, волочась и спотыкаясь, ступали тяжело и слабо, словно чужие; одежда на нем висела лохмотьями; непокрытая голова падала на грудь... Он изнемогал.

Он присел на придорожный камень, наклонился вперед, облокотился, закрыл лицо обеими руками и сквозь искривленные пальцы закапали слезы на сухую, седую пыль.

Он вспоминал...

Вспоминал он, как и он был некогда здоров и богат и как он здоровье истратил, а богатство роздал другим, друзьям и недругам... И вот теперь у него нет куска хлеба и все его покинули, друзья еще раньше врагов... Неужели ж ему унизиться до того, чтобы просить милостыню? И горько ему было на сердце и стыдно.

А слезы всё капали да капали, пестря седую пыль.

Вдруг он услышал, что кто-то зовет его по имени; он поднял усталую голову и увидал перед собою незнакомца.

Лицо спокойное и важное, но не строгое; глаза не лучистые, а светлые; взор пронзительный, но не злой.

Ты всё свое богатство роздал, послушался ровный голос... Но ведь ты не жалеешь о том, что добро делал?

Не жалею, ответил со вздохом старик, только вот умираю я теперь.

И не было бы на свете нищих, которые к тебе протягивали руку, продолжал незнакомец, не над кем было бы тебе показать свою добродетель, не мог бы ты упражняться в ней?

Старик ничего не ответил и задумался.

Так и ты теперь не гордись, бедняк, заговорил опять незнакомец, ступай, протягивай руку, доставь и ты другим добрым людям возможность показать на деле, что они добры.

Старик встрепенулся, вскинул глазами... но незнакомец уже исчез; а вдали на дороге показался прохожий.

Старик подошел к нему и протянул руку. Этот прохожий отвернулся с суровым видом и не дал ничего.

Но за ним шел другой и тот подал старику малую милостыню.

И старик купил себе на данные гроши хлеба и сладок показался ему выпрошенный кусок и не было стыда у него на сердце, а напротив: его осенила тихая радость.

Снилось мне, что сидит нас человек двадцать в большой комнате с раскрытыми окнами.

Между нами женщины, дети, старики... Все мы говорим о каком-то очень известном предмете говорим шумно и невнятно.

Вдруг в комнату с сухим треском влетело большое насекомое, вершка в два длину... влетело, покружилось и село на стену.

Оно походило на муху или на осу. Туловище грязно-бурого цвету; такого же цвету и плоские жесткие крылья; растопыренные мохнатые лапки да голова угловатая и крупная, как у коромыслов; и голова эта и лапки ярко-красные, точно кровавые.

Странное это насекомое беспрестанно поворачивало голову вниз, вверх, вправо, влево, передвигало лапки... потом вдруг срывалось со стены, с треском летало по комнате и опять садилось, опять жутко и противно шевелилось, не трогаясь с места.

Во всех нас оно возбуждало отвращение, страх, даже ужас... Никто из нас не видал ничего подобного, все кричали: Гоните вон это чудовище!, все махали платками издали... ибо никто не решался подойти... и когда насекомое взлетало все невольно сторонились.

Лишь один из наших собеседников, молодой еще, бледнолицый человек, оглядывал нас всех с недоумением. Он пожимал плечами, он улыбался, он решительно не мог понять, что с нами случилось и с чего мы так волнуемся? Сам он не видел никакого насекомого не слышал зловещего треска его крыл. Вдруг насекомое словно уставилось на него, взвилось и, прикинув к его голове, ужалило его в лоб повыше глаз... Молодой человек слабо ахнул и упал мертвым.

Страшная муха тотчас улетела... Мы только тогда догадались, что это была за гостья.

У бабы-вдовы умер ее единственный двадцатилетний сын, первый на селе работник.

Барыня, помещица того самого села, узнав о горе бабы, пошла навестить ее в самый день похорон.

Она застала ее дома.

Стоя посреди избы, перед столом, она, не спеша, ровным движением правой руки (левая висела плетью) черпала пустые щи со дна закоптелого горшка и глотала ложку за ложкой.

Лицо бабы осунулось и потемнело; глаза покраснели и опухли... но она держалась истово и прямо, как в церкви.

Господи! подумала барыня. Она может есть в такую минуту... Какие, однако, у них у всех грубые чувства!

И вспомнила тут барыня, как, потеряв несколько лет тому назад девятимесячную дочь, она с горя отказалась нанять прекрасную дачу под Петербургом и прожила целое лето в городе!

А баба продолжала хлебать щи.

Барыня не вытерпела наконец.

Татьяна! промолвила она. Помилуй! Я удивляюсь! Неужели ты своего сына не любила? Как у тебя не пропал аппетит? Как можешь ты есть эти щи!

Вася мой помер, тихо проговорила баба, и наболевшие слезы снова побежали по ее впалым щекам. Значит, и мой пришел конец: с живой с меня сняли голову. А щам не пропадать же: ведь они посолённые.

Барыня только плечами пожала и пошла вон. Ей-то соль доставалась дешево.

О лазурное царство! О царство лазури, света, молодости и счастья! Я видел тебя... во сне.

Нас было несколько человек на красивой, разубранной лодке. Лебединой грудью вздымался белый парус под резвыми вымпелами.

Я не знал, кто были мои товарищи; но я всем своим существом чувствовал, что они были так же молоды, веселы и счастливы, как и я!

Да я и не замечал их. Я видел кругом одно безбрежное лазурное море, всё покрытое мелкой рябью золотых чешуек, а над головою такое же безбрежное, такое же лазурное небо и по нем, торжествуя и словно смеясь, катилось ласковое солнце.

И между нами по временам поднимался смех звонкий и радостный, как смех богов!

А не то вдруг с чьих-нибудь уст слетали слова, стихи, исполненные дивной красоты и вдохновенной силы... Казалось, самое небо звучало им в ответ и кругом море сочувственно трепетало... А там опять наступала блаженная тишина.

Слегка ныряя по мягким волнам, плыла наша быстрая лодка. Не ветром двигалась она; ею правили наши собственные играющие сердца. Куда мы хотели, туда она и неслась, послушно, как живая.

Нам попадались острова, волшебные, полупрозрачные острова с отливами драгоценных камней, яхонтов и изумрудов. Упоительные благовония неслись с округлых берегов; одни из этих островов осыпали нас дождем белых роз и ландышей; с других внезапно поднимались радужные длиннокрылые птицы. Птицы кружились над нами, ландыши и розы таяли в жемчужной пене, скользившей вдоль гладких боков нашей лодки.

Вместе с цветами, с птицами прилетали сладкие, сладкие звуки... Женские голоса чудились в них... И всё вокруг: небо, море, колыхание паруса в вышине, журчание струи за кормою всё говорило о любви, о блаженной любви!

И та, которую каждый из нас любил, она была тут... невидимо и близко. Еще мгновение и вот засияют ее глаза, расцветет ее улыбка... Ее рука возьмет твою руку и увлечет тебя за собою в неувядаемый рай!

О лазурное царство! я видел тебя... во сне.

Когда при мне превозносят богача Ротшильда, который из громадных своих доходов уделяет целые тысячи на воспитание детей, на лечение больных, на призрение старых я хвалю и умиляюсь.

Но, и хваля и умиляясь, не могу я не вспомнить об одном убогом крестьянском семействе, принявшем сироту-племянницу в свой разоренный домишко.

Возьмем мы Катьку, говорила баба, последние наши гроши на нее пойдут, не на что будет соли добыть, похлебку посолить...

А мы ее... и не соленую, ответил мужик, ее муж.

Далеко Ротшильд до этого мужика!

Настали темные, тяжелые дни...

Свои болезни, недуги людей милых, холод и мрак старости... Всё, что ты любил, чему отдавался безвозвратно, никнет и разрушается. Под гору пошла

дорога.

Что же делать? Скорбеть? Горевать? Ни себе, ни другим ты этим не поможешь.

На засыхающем, покоробленном дереве лист мельче и реже но зелень его та же.

Сожмись и ты, уйди в себя, в свои воспоминанья, и там, глубоко-глубоко, на самом дне сосредоточенной души, твоя прежняя, тебе одному доступная жизнь блеснет перед тобою своей пахучей, всё еще свежей зеленью и лаской и силой весны!

Но будь осторожен... не гляди вперед, бедный старик!

Двое друзей сидят за столом и пьют чай.

Внезапный шум поднялся на улице. Слышны жалобные стоны, ярые ругательства, взрывы злорадного смеха.

Кого-то бьют, заметил один из друзей, выглянув из окна.

Преступника? Убийцу? спросил другой. Слушай, кто бы он ни был, нельзя допустить бессудную расправу. Пойдем заступимся за него.

Да это бьют не убийцу.

Не убийцу? Так вора? Всё равно, пойдем отнимем его у толпы.

И не вора.

Не вора? Так кассира, железнодорожника, военного поставщика, российского мецената, адвоката, благонамеренного редактора, общественного жертвователя?.. Все-таки пойдем поможем ему!

Нет... это бьют корреспондента.

Корреспондента? Ну, знаешь что: допьем сперва стакан чаю.

То было видение...

Передо мною появилось два ангела... два гения.

Я говорю: ангелы... гении потому что у обоих на обнаженных телах не было никакой одежды и за плечами у каждого вздымались сильные длинные крылья.

Оба юноши. Один несколько полный, гладкокожий, чернокудрый. Глаза карие, с поволокой, с густыми ресницами; взгляд вкрадчивый, веселый и жадный.

Лицо прелестное, пленительное, чуть-чуть дерзкое, чуть-чуть злое. Алые пухлявые губы слегка вздрагивают. Юноша улыбается, как власть имеющий самоуверенно и лениво; пышный цветочный венок слегка покоится на блестящих волосах, почти касаясь бархатных бровей. Пестрая шкурка леопарда, перехваченная золотой стрелой, легко повисла с округлого плеча на выгнутое бедро. Перья крыльев отливают розовым цветом; концы их ярко-красны, точно омочены багряной, свежей кровью. От времени до времени они трепещут быстро, с приятным серебристым шумом, шумом

весеннего дождя.

Другой был худ и желтоват телом. Ребра слабо виднелись при каждом вдохании. Волосы белокурые, жидкие, прямые; огромные, круглые, бледно-серые глаза... взгляд беспокойный и странно-светлый. Все черты лица заостренные; маленький полураскрытый рот с рыбьими зубами; сжатый, орлиный нос, выдающийся подбородок, покрытый беловатым пухом. Эти сухие губы ни разу, никогда не улыбнулись.

То было правильное, страшное, безжалостное лицо! (Впрочем, и у первого, у красавца, лицо, хоть и милое и сладкое, жалости не выражало тоже.) Вокруг головы второго зацепилось несколько пустых поломанных колосьев, перевитых поблеклой былинкой. Грубая серая ткань обвивала чресла; крылья за спиною, темно-синие, матового цвета, двигались тихо и грозно.

Оба юноши казались неразлучными товарищами.

Каждый из них опирался на плечо другого. Мягкая ручка первого лежала, как виноградный гроздь, на сухой ключице второго; узкая кисть второго с длинными тонкими пальцами протянулась, как змея, по женоподобной груди первого.

И слышался мне голос... Вот что произнес он: Перед тобой Любовь и Голод два родных брата, две коренных основы всего живущего.

Всё, что живет движется, чтобы питаться; и питается, чтобы воспроизводить. Любовь и Голод цель их одна: нужно, чтобы жизнь не прекращалась, собственная и чужая всё та же, всеобщая жизнь.

В нем было всё нужное для того, чтобы сделаться бичом своей семьи.

Он родился здоровым; родился богатым и в течение всей своей долгой жизни, оставаясь богатым и здоровым, не совершил ни одного проступка, не впал ни в одну ошибку, не обмолвился и не промахнулся ни разу.

Он был безукоризненно честен!.. И, гордый сознанием своей честности, давил ею всех: родных, друзей, знакомых.

Честность была его капиталом... и он брал с него ростовщичьи проценты.

Честность давала ему право быть безжалостным и не делать неуказного добра; и он был безжалостным и не делал добра... потому что добро по указу не добро.

Он никогда не заботился ни о ком, кроме собственной столь примерной! особы, и искренно возмущался, если и другие так же старательно не заботились о ней!

И в то же время он не считал себя эгоистом и пуще всего порицал и преследовал эгоистов и эгоизм! Еще бы! Чужой эгоизм мешал его собственному.

Не ведая за собой ни малейшей слабости, он не понимал, не допускал ничьей

слабости. Он вообще никого и ничего не понимал, ибо был весь, со всех сторон, снизу и сверху, сзади и спереди, окружен самим собою.

Он даже не понимал: что значит прощать? Самому себе прощать ему не приходилось... С какой стати стал бы он прощать другим?

Перед судом собственной совести, перед лицом собственного бога он, это чудо, этот изверг добродетели, возводил очи горе и твердым и ясным голосом произносил: Да, я достойный, я нравственный человек!

Он повторит эти слова на смертном ложе и ничего не дрогнет даже и тогда в его каменном сердце, в этом сердце без пятнышка и без трещины.

О безобразии самодовольной, непреклонной, дешево доставшейся добродетели, ты едва ли не противней откровенного безобразия порока!

Однажды Верховное Существо вздумало задать великий пир в своих лазоревых чертогах.

Все добродетели были им позваны в гости. Одни добродетели... мужчин он не приглашал... одних только дам.

Собралось их очень много великих и малых. Малые добродетели были приятнее и любезнее великих; но все казались довольными и вежливо разговаривали между собою, как приличествует близким родственникам и знакомым.

Но вот Верховное Существо заметило двух прекрасных дам, которые, казалось, вовсе не были знакомы друг с дружкой.

Хозяин взял за руку одну из этих дам и подвел ее к другой.

Благодетельность! сказал он, указав на первую.

Благодарность! прибавил он, указав на вторую.

Обе добродетели несказанно удивились: с тех пор как свет стоял а стоял он давно, они встречались в первый раз!

Изжелта-серый, сверху рыхлый, исподнизу твердый, скрипучий песок... песок без конца, куда ни взглянешь!

И над этой песчаной пустыней, над этим морем мертвого праха высится громадная голова египетского сфинкса.

Что хотят сказать эти крупные, выпяченные губы, эти неподвижно-расширенные, вздернутые ноздри и эти глаза, эти длинные, полусонные, полувнимательные глаза под двойной дугой высоких бровей? А что-то хотят сказать они! Они даже говорят но один лишь Эдип умеет разрешить загадку и понять их безмолвную речь.

Ба! Да я узнаю эти черты... в них уже нет ничего египетского. Белый низкий лоб, выдающиеся скулы, нос короткий и прямой, красивый белозубый рот, мягкий ус и борода курчавая и эти широко расставленные небольшие глаза... а на голове шапка волос, рассеченная пробором... Да это ты, Карп, Сидор,

Семен, ярославский, рязанский мужичок, соотчик мой, русская косточка!
Давно ли попал ты в сфинксы?
Или и ты тоже что-то хочешь сказать? Да, и ты тоже сфинкс.
И глаза твои эти бесцветные, но глубокие глаза говорят тоже... И так же
безмолвны и загадочны их речи.
Только где твой Эдип?
Увы! не довольно надеть мурмолку, чтобы сделаться твоим Эдипом, о
всероссийский сфинкс!

Я стоял перед цепью красивых гор, раскинутых полукругом; молодой зеленый
лес покрывал их сверху донизу.
Прозрачно синело над ними южное небо; солнце с вышины играло лучами;
внизу, полузакрытые травой, болтали проворные ручьи.
И вспомнилось мне старинное сказание о том, как, в первый век по рождестве
Христове, один греческий корабль плыл по Эгейскому морю.
Час был полуденный... Стояла тихая погода. И вдруг, в высоте, над головою
кормчего, кто-то явственно произнес:
Когда ты будешь плыть мимо острова, воззови громким голосом: Умер
Великий Пан!
Кормчий удивился... испугался. Но когда корабль побежал мимо острова, он
послушался, он воззвал:
Умер Великий Пан!
И тотчас же, в ответ на его клик, по всему протяжению берега (а остров был
необитаем) раздались громкие рыдания, стоны, протяжные, жалостные
возгласы:
Умер! Умер Великий Пан!
Мне вспомнилось это сказание... и странная мысль посетила меня. Что, если и
я кликну клич?
Но в виду окружавшего меня ликования я не мог подумать о смерти и что
было во мне силы закричал:
Воскрес! Воскрес Великий Пан!
И тотчас же о чудо! в ответ на мое восклицание по всему широкому
полукружью зеленых гор прокатился дружный хохот, поднялся радостный
говор и плеск. Он воскрес! Пан воскрес! шумели молодые голоса. Всё там
впереди внезапно засмеялось, ярче солнца в вышине, игривее ручьев,
болтавших под травой. Послышался торопливый топот легких шагов, сквозь
зеленую чащу замелькала мраморная белизна волнистых туник, живая алость
обнаженных тел... То нимфы, нимфы, дриады, вакханки бежали с высот в
равнину...
Они разом показались по всем опушкам. Локоны вьются по божественным

головам, стройные руки поднимают венки и тимпаны и смех, сверкающий, олимпийский смех бежит и катится вместе с ними...

Впереди несется богиня. Она выше и прекраснее всех, колчан за плечами, в руках лук, на поднятых кудрях серебристый серп луны...

Диана, это ты?

Но вдруг богиня остановилась... и тотчас, вслед за нею, остановились все нимфы. Звонкий смех замер. Я видел, как лицо внезапно онемевшей богини покрылось смертельной бледностью; я видел, как опустились и повисли ее руки, как окаменели ноги, как невыразимый ужас разверз ее уста, расширил глаза, устремленные вдаль... Что она увидела? Куда глядела она?

Я обернулся в ту сторону, куда она глядела...

На самом краю неба, за низкой чертою полей, горел огненной точкой золотой крест на белой колокольне христианской церкви... Этот крест увидела богиня. Я услышал за собою неровный, длинный вздох, подобный трепетанию лопнувшей струны, и когда я обернулся снова, уже от нимф не осталось следа... Широкий лес зеленел по-прежнему, и только местами сквозь частую сеть ветвей виднелись, таяли клочки чего-то белого. Были ли то туники нимф, поднимался ли пар со дна долин не знаю.

Но как мне было жаль исчезнувших богинь!

Осужденный на вечное заточенье узник вырвался из тюрьмы и стремглав пустился бежать... За ним по пятам мчалась погоня.

Он бежал изо всех сил... Преследователи начинали отставать.

Но вот перед ним река с крутыми берегами, узкая но глубокая река... А он не умеет плавать!

С одного берега на другой перекинута тонкая гнилая доска. Беглец уже занес на нее ногу... Но случилось так, что тут же возле реки стояли: лучший его друг и самый жестокий его враг.

Враг ничего не сказал и только скрестил руки; зато друг закричал во всё горло:

Помилуй! Что ты делаешь? Опомнись, безумец! Разве ты не видишь, что доска совсем сгнила? Она сломится под твоею тяжестью и ты неизбежно погибнешь!

Но ведь другой переправы нет... а погоню слышишь? отчаянно простонал несчастный и ступил на доску.

Не допущу!.. Нет, не допущу, чтобы ты погибнул! возопил ревностный друг и выхватил из-под ног беглеца доску. Тот мгновенно бухнул в бурные волны и утонул.

Враг засмеялся самодовольно и пошел прочь; а друг присел на бережку и начал горько плакать о своем бедном... бедном друге!

Обвинять самого себя в его гибели он, однако, не подумал... ни на миг.

Не послушался меня! Не послушался! шептал он уныло.
А впрочем! промолвил он наконец. Ведь он всю жизнь свою должен был томиться в ужасной тюрьме! По крайней мере он теперь не страдает! Теперь ему легче! Знать, уж такая ему выпала доля!
А все-таки жалко, по человечеству!
И добрая душа продолжала неутешно рыдать о своем злополучном друге.

Я видел себя юношей, почти мальчиком в низкой деревенской церкви.
Красными пятнышками теплились перед старинными образами восковые тонкие свечи.
Радужный венчик окружал каждое маленькое пламя. Темно и тускло было в церкви... Но народу стояло передо мною много.
Всё русые, крестьянские головы. От времени до времени они начинали колыхаться, падать, подниматься снова, словно зрелые колосья, когда по ним медленной волной пробегает летний ветер.
Вдруг какой-то человек подошел сзади и стал со мною рядом.
Я не обернулся к нему но тотчас почувствовал, что этот человек Христос. Умиление, любопытство, страх разом овладели мною. Я сделал над собою усилие... и посмотрел на своего соседа.

Лицо, как у всех, лицо, похожее на все человеческие лица. Глаза глядят немного ввысь, внимательно и тихо. Губы закрыты, но не сжаты: верхняя губа как бы покоится на нижней. Небольшая борода раздвоена. Руки сложены и не шевелятся. И одежда на нем как на всех.
Какой же это Христос! подумалось мне. Такой простой, простой человек! Быть не может!

Я отвернулся прочь. Но не успел я отвести взор от того простого человека, как мне опять почудилось, что это именно Христос стоит со мной рядом.
Я опять сделал над собою усилие... И опять увидел то же лицо, похожее на все человеческие лица, те же обычные, хоть и незнакомые черты.
И мне вдруг стало жутко и я пришел в себя. Только тогда я понял, что именно такое лицо, похожее на все человеческие лица, оно и есть лицо Христа.

Видали ли вы старый серый камень на морском побережье, когда в него, в час прилива, в солнечный веселый день, со всех сторон бьют живые волны бьют и играют и ластятся к нему и обливают его мшистую голову рассыпчатым жемчугом блестящей пены?

Камень остается тем же камнем но по хмурой его поверхности выступают яркие цвета.

Они свидетельствуют о том далеком времени, когда только что начинал твердеть расплавленный гранит и весь горел огнистыми цветами.

Так и на мое старое сердце недавно со всех сторон нахлынули молодые женские души и под их ласкающим прикосновением зарделось оно уже давно поблекшими красками, следами бывшего огня!

Волны отхлынули... но краски еще не потускнели хоть и сушит их резкий ветер.

Я стоял на вершине пологого холма; передо мною то золотым, то посеребренным морем раскинулась и пестрела спелая рожь.

Но не бегало зыби по этому морю; не струился душный воздух: назревала гроза великая.

Около меня солнце еще светило горячо и тускло; но там, за рожью, не слишком далеко, темно-синяя туча лежала грузной громадой на целой половине небосклона.

Всё притаилось... всё изнывало под зловещим блеском последних солнечных лучей. Не слышать, не видеть ни одной птицы; попрятались даже воробьи. Только где-то вблизи упорно шептал и хлопал одинокий крупный лист лопуха. Как сильно пахнет полынь на межах! Я глядел на синюю громаду... и смутно было на душе. Ну скорей же, скорей! думалось мне, сверкни, золотая змейка, дрогни, гром! двинься, покатысь, пролейся, злая туча, прекрати тоскливое томленье!

Но туча не двигалась. Она по-прежнему давила безмолвную землю... и только словно пухла да темнела.

И вот по одноцветной ее синеве замелькало что-то ровно и плавно; ни дать ни взять белый платочек или снежный комок. То летел со стороны деревни белый голубь.

Летел, летел всё прямо, прямо... и потонул за лесом.

Прошло несколько мгновений та же стояла жестокая тишь... Но глядь! Уже два платка мелькают, два комочка несутся назад: то летят домой ровным полетом два белых голубя.

И вот, наконец, сорвалась буря и пошла потеха!

Я едва домой добежал. Визжит ветер, мечется как бешеный, мчатся рыжие, низкие, словно в клочья разорванные облака, всё закрутилось, смешалось, захлестал, закачался отвесными столбами рьяный ливень, молнии слепят огнистой зеленью, стреляет как из пушки отрывистый гром, запахло серой... Но под навесом крыши, на самом краешке слухового окна, рядышком сидят два белых голубя и тот, кто слетал за товарищем, и тот, кого он привел и, может быть, спас.

Нахохлились оба и чувствует каждый своим крылом крыло соседа...

Хорошо им! И мне хорошо, глядя на них... Хоть я и один... один, как всегда.

Как пуст, и вял, и ничтожен почти всякий прожитой день! Как мало следов оставляет он за собою! Как бессмысленно глупо пробежали эти часы за часами!

И между тем человеку хочется существовать; он дорожит жизнью, он надеется на нее, на себя, на будущее... О, каких благ он ждет от будущего! Но почему же он воображает, что другие, грядущие дни не будут похожи на этот только что прожитой день?

Да он этого и не воображает. Он вообще не любит размышлять и хорошо делает.

Вот завтра, завтра! утешает он себя, пока это завтра не свалит его в могилу. Ну, а раз в могиле поневоле размышлять перестанешь.

Мне снилось, что я вошел в огромную подземную храмину с высокими сводами. Ее всю наполнял какой-то тоже подземный, ровный свет. По самой середине храмины сидела величавая женщина в волнистой одежде зеленого цвета. Склонив голову на руку, она казалась погруженной в глубокую думу.

Я тотчас понял, что эта женщина сама Природа, и мгновенным холодом внедрился в мою душу благоговейный страх.

Я приблизился к сидящей женщине и, отдав почтительный поклон:

О наша общая мать! воскликнул я. О чем твоя дума? Не о будущих ли судьбах человечества размышляешь ты? Не о том ли, как ему дойти до возможного совершенства и счастья?

Женщина медленно обратила на меня свои темные, грозные глаза. Губы ее шевельнулись и раздался зычный голос, подобный лязгу железа.

Я думаю о том, как бы придать большую силу мышцам ног блохи, чтобы ей удобнее было спастись от врагов своих. Равновесие нападения и отпора нарушено... Надо его восстановить.

Как? пролепетал я в ответ. Ты вот о чем думаешь? Но разве мы, люди, не любимые твои дети?

Женщина чуть-чуть наморщила брови:

Все твари мои дети, промолвила она, и я одинаково о них забочусь и одинаково их истребляю.

Но добро... разум... справедливость... пролепетал я снова.

Это человеческие слова, раздался железный голос. Я не ведаю ни добра, ни зла... Разум мне не закон и что такое справедливость? Я тебе дала жизнь я ее отниму и дам другим, червям или людям... мне всё равно... А ты пока защищайся и не мешай мне!

Я хотел было возражать... но земля кругом глухо застонала и дрогнула и я проснулся.

Это случилось в 1805 году, начал мой старый знакомый, незадолго до Аустерлица. Полк, в котором я служил офицером, стоял на квартирах в Моравии.

Нам было строго запрещено беспокоить и притеснять жителей; они и так смотрели на нас косо, хоть мы и считались союзниками.

У меня был денщик, бывший крепостной моей матери, Егор по имени. Человек он был честный и смирный; я знал его с детства и обращался с ним как с другом.

Вот однажды в доме, где я жил, поднялись бранчивые крики, вопли: у хозяйки украли двух кур, и она в этой краже обвиняла моего денщика. Он оправдывался, призывал меня в свидетели... Станет он красть, он, Егор Автамонов! Я уверял хозяйку в честности Егора, но она ничего слушать не хотела.

Вдруг вдоль улицы раздался дружный конский топот: то сам главнокомандующий проезжал со своим штабом.

Он ехал шагом, толстый, обрюзглый, с понурой головой и свислыми на грудь эполетами.

Хозяйка увидела его и, бросившись наперерез его лошади, пала на колени и вся растерзанная, простоволосая, начала громко жаловаться на моего денщика, указывала на него рукою.

Господин генерал! кричала она, ваше сиятельство! Рассудите! Помогите! Спасите! Этот солдат меня ограбил!

Егор стоял на пороге дома, вытянувшись в струнку, с шапкой в руке, даже грудь выставил и ноги сдвинул, как часовой, и хоть бы слово! Смутил ли его весь этот остановившийся посреди улицы генералитет, окаменел ли он перед налетающей бедою только стоит мой Егор да мигает глазами а сам бел, как глина!

Главнокомандующий бросил на него рассеянный и угрюмый взгляд, промычал сердито:

Ну?..

Стоит Егор как истукан и зубы оскалил! Со стороны посмотреть: словно смеется человек.

Тогда главнокомандующий промолвил отрывисто:

Повесить его! толкнул лошадь под бока и двинулся дальше сперва опять-таки шагом, а потом шибкой рысью. Весь штаб помчался вслед за ним; один только адъютант, повернувшись на седле, взглянул мельком на Егора.

Ослушаться было невозможно... Егора тотчас схватили и повели на казнь.

Тут он совсем помертвел и только раза два с трудом воскликнул:

Батюшки! батюшки! а потом вполголоса: Видит бог не я!

Горько, горько заплакал он, прощаясь со мною. Я был в отчаянии.

Егор! Егор! кричал я, как же ты это ничего не сказал генералу!

Видит бог, не я, повторял, всхлипывая, бедняк.

Сама хозяйка ужаснулась. Она никак не ожидала такого страшного решения и в свою очередь разревелась! Начала умолять всех и каждого о пощаде, уверяла, что куры ее отыскались, что она сама готова всё объяснить...

Разумеется, всё это ни к чему не послужило. Военные, сударь, порядки!

Дисциплина! Хозяйка рыдала всё громче и громче.

Егор, которого священник уже исповедал и причастил, обратился ко мне:

Скажите ей, ваше благородие, чтоб она не убивалась... Ведь я ей простил.

Мой знакомый повторил эти последние слова своего слуги, прошептал:

Егорушка, голубчик, праведник! и слезы закапали по его старым щекам.

Что я буду думать тогда, когда мне придется умирать, если я только буду в состоянии тогда думать?

Буду ли я думать о том, что плохо воспользовался жизнью, проспал ее, продремал, не сумел вкусить от ее даров?

Как? это уже смерть? Так скоро? Невозможно! Ведь я еще ничего не успел сделать... Я только собирался делать!

Буду ли я вспоминать о прошедшем, останавливаться мыслию на немногих светлых, прожитых мною мгновениях, на дорогих образах и лицах?

Предстанут ли моей памяти мои дурные дела и найдет на мою душу жгучая тоска позднего раскаяния?

Буду ли я думать о том, что меня ожидает за гробом... да и ожидает ли меня там что-нибудь?

Нет... мне кажется, я буду стараться не думать и насильно займусь каким-нибудь вздором, чтобы только отвлечь собственное мое внимание от грозного мрака, чернеющего впереди.

При мне один умирающий всё жаловался на то, что не хотят дать ему погрызть каленых орешков... и только там, в глубине его потускневших глаз, билось и трепетало что-то, как перешибленное крыло насмерть раненной птицы.

Где-то, когда-то, давно-давно тому назад, я прочел одно стихотворение. Оно скоро позабылось мною... но первый стих остался у меня в памяти:

Как хороши, как свежи были розы...

Теперь зима; мороз запушил стекла окон; в темной комнате горит одна свеча.

Я сижу, забившись в угол; а в голове всё звенит да звенит:

Как хороши, как свежи были розы...

И вижу я себя перед низким окном загородного русского дома. Летний вечер тихо тает и переходит в ночь, в теплом воздухе пахнет резедой и липой; а на

окне, опершись на выпрямленную руку и склонив голову к плечу, сидит девушка и безмолвно и пристально смотрит на небо, как бы выжидая появления первых звезд. Как простодушно-вдохновенны задумчивые глаза, как трогательно-невинны раскрытые, вопрошающие губы, как ровно дышит еще не вполне расцветшая, еще ничем не взволнованная грудь, как чист и нежен облик юного лица! Я не дерзаю заговорить с нею но как она мне дорога, как бьется мое сердце!

Как хороши, как свежи были розы...

А в комнате всё темней да темней... Нагоревшая свеча трещит, беглые тени колеблются на низком потолке, мороз скрипит и злится за стеною и чудится скучный, старческий шёпот...

Как хороши, как свежи были розы...

Встают передо мною другие образы... Слышится веселый шум семейной деревенской жизни. Две русые головки, прислонясь друг к дружке, бойко смотрят на меня своими светлыми глазками, алые щеки трепещут сдержанным смехом, руки ласково сплелись, вперебивку звучат молодые, добрые голоса; а немного подальше, в глубине уютной комнаты, другие, тоже молодые руки бегают, путаясь пальцами, по клавишам старенького пианино и ланнеровский вальс не может заглушить воркотню патриархального самовара...

Как хороши, как свежи были розы...

Свеча меркнет и гаснет... Кто это кашляет там так хрипло и глухо?

Свернувшись в калачик, жметесь и вздрагивает у ног моих старый пес, мой единственный товарищ... Мне холодно... Я зябну... И все они умерли... умерли...

Как хороши, как свежи были розы...

Я плыл из Гамбурга в Лондон на небольшом пароходе. Нас было двое пассажиров: я да маленькая обезьяна, самка из породы уистити, которую один гамбургский купец отправлял в подарок своему английскому компаньону. Она была привязана тонкой цепочкой к одной из скамеек на палубе и металась и пищала жалобно, по-птичьи.

Всякий раз, когда я проходил мимо, она протягивала мне свою черную холодную ручку и взглядывала на меня своими грустными, почти человеческими глазенками. Я брал ее руку и она переставала пищать и метаться.

Стоял полный штиль. Море растянулось кругом неподвижной скатертью свинцового цвета. Оно казалось невеликим; густой туман лежал на нем, заволакивая самые концы мачт, и слепил и утомлял взор своей мягкой мглой. Солнце висело тускло-красным пятном в этой мгле; а перед вечером она вся

загоралась и алела таинственно и странно.

Длинные прямые складки, подобные складкам тяжелых шелковых тканей, бежали одна за другой от носа парохода и, всё ширясь, морщась да ширясь, сглаживались наконец, колыхались, исчезали. Взбитая пена клубилась под однообразно топотающими колесами; молочно белея и слабо шипя, разбивалась она на змеевидные струи а там сливалась, исчезала тоже, поглощенная мглой.

Непрестанно и жалобно, не хуже писка обезьяны, звякал небольшой колокол у кормы.

Изредка всплывал тюлень и, круто кувыркнувшись, уходил под едва возмущенную гладь.

А капитан, молчаливый человек с загорелым сумрачным лицом, курил короткую трубку и сердито плевал в застывшее море.

На все мои вопросы он отвечал отрывистым ворчанием; поневоле приходилось обращаться к моему единственному спутнику обезьяне.

Я садился возле нее; она переставала пищать и опять протягивала мне руку. Снотворной сыростью обдавал нас обоих неподвижный туман; и погруженные в одинаковую, бессознательную думу, мы пребывали друг возле друга, словно родные.

Я улыбаюсь теперь... но тогда во мне было другое чувство.

Все мы дети одной матери и мне было приятно, что бедный зверок так доверчиво утихал и прислонялся ко мне, словно к родному.

Стройно и тихо проходишь ты по жизненному пути, без слез и без улыбки, едва оживленная равнодушным вниманием.

Ты добра и умна... и всё тебе чуждо и никто тебе не нужен.

Ты прекрасна и никто не скажет: дорожишь ли ты своей красотой или нет? Ты безучастна сама и не требуешь участия.

Твой взор глубок и не задумчив; пусто в этой светлой глубине.

Так, в Елисейских полях под важные звуки глюковских мелодий беспечно и безрадостно проходят стройные тени.

Стой! Какою я теперь тебя вижу останься навсегда такою в моей памяти!

С губ сорвался последний вдохновенный звук глаза не блестят и не сверкают они меркнут, отягощенные счастьем, блаженным сознанием той красоты, которую удалось тебе выразить, той красоты, во след которой ты словно простираешь твои торжествующие, твои изнеможенные руки!

Какой свет, тоньше и чище солнечного света, разлился по всем твоим членам, по малейшим складкам твоей одежды?

Какой бог своим ласковым дуновеньем откинул назад твои рассыпанные кудри?

Его лобзание горит на твоём, как мрамор, побледневшем челе!
Вот она открытая тайна, тайна поэзии, жизни, любви! Вот оно, вот оно,
бессмертие! Другого бессмертия нет и не надо. В это мгновение ты
бессмертна.

Оно пройдет и ты снова щепотка пепла, женщина, дитя... Но что тебе за дело!
В это мгновение ты стала выше, ты стала вне всего преходящего, временного.
Это твоё мгновение не кончится никогда.
Стой! И дай мне быть участником твоего бессмертия, урони в душу мою
отблеск твоей вечности!

Я знавал одного монаха, отшельника, святого. Он жил одною сладостью
молитвы и, упиваясь ею, так долго простаивал на холодном полу церкви, что
ноги его, ниже колен, отекали и уподобились столбам. Он их не чувствовал,
стоял и молился.

Я его понимал я, быть может, завидовал ему, но пускай же и он поймет меня и
не осуждает меня, которому недоступны его радости.

Он добился того, что уничтожил себя, своё ненавистное я; но ведь и я не
молюсь не из самолюбия.

Мое я мне, может быть, ещё тягостнее и противнее, чем его ему.

Он нашел, в чем забыть себя... да ведь и я нахожу, хоть и не так постоянно.
Он не лжет... да ведь и я не лгу.

Какая ничтожная малость может иногда перестроить всего человека!

Полный раздумья, шел я однажды по большой дороге.

Тяжкие предчувствия стесняли мою грудь; унылость овладевала мною.

Я поднял голову... Передо мною, между двух рядов высоких тополей, стрелою
уходила вдаль дорога.

И через нее, через эту самую дорогу, в десяти шагах от меня, вся
раззолоченная ярким летним солнцем, прыгала гуськом целая семейка
воробьев, прыгала бойко, забавно, самонадеянно!

Особенно один из них так и надсаживал бочком, бочком, выпуча зоб и дерзко
чирикал, словно и чёрт ему не брат! Завоеватель и полно!

А между тем высоко на небе кружил ястреб, которому, быть может, суждено
сожрать именно этого самого завоевателя.

Я поглядел, рассмеялся, встряхнулся и грустные думы тотчас отлетели прочь:
отвагу, удаль, охоту к жизни почувствовал я.

И пускай надо мной кружит мой ястреб...

Мы ещё повоюем, чёрт возьми!

О чем бы ни молился человек он молится о чуде. Всякая молитва сводится на следующую: Великий боже, сделай, чтобы дважды два не было четыре! Только такая молитва и есть настоящая молитва от лица к лицу. Молиться всемирному духу, высшему существу, кантовскому, гегелевскому, очищенному, безобразному богу невозможно и немыслимо. Но может ли даже личный, живой, образный бог сделать, чтобы дважды два не было четыре? Всякий верующий обязан ответить: может и обязан убедить самого себя в этом. Но если разум его восстанет против такой бессмыслицы? Тут Шекспир придет ему на помощь: Есть многое на свете, друг Горацио... и т.д. А если ему станут возражать во имя истины, ему стоит повторить знаменитый вопрос: Что есть истина? И потому: станем пить и веселиться и молиться.

Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины, ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! Не будь тебя как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома? Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу!

Мне снилось: я шел по широкой голой степи, усеянной крупными угловатыми камнями, под черным, низким небом.

Между камнями вилась тропинка... Я шел по ней, не зная сам куда и зачем... Вдруг передо мною на узкой черте тропинки появилось нечто вроде тонкого облачка... Я начал вглядываться: облачко стало женщиной, стройной и высокой, в белом платье, с узким светлым поясом вокруг стана. Она спешила прочь от меня проворными шагами.

Я не видел ее лица, не видел даже ее волос: их закрывала волнистая ткань; но всё сердце мое устремилось вслед за нею. Она казалась мне прекрасной, дорогой и милой... Я непременно хотел догнать ее, хотел заглянуть в ее лицо... в ее глаза... О да! Я хотел увидеть, я должен был увидеть эти глаза.

Однако как я ни спешил, она двигалась еще проворнее меня и я не мог ее настигнуть.

Но вот поперек тропинки показался плоский, широкий камень... Он преградил ей дорогу.

Женщина остановилась перед ним... и я подбежал, дрожа от радости и ожидания, не без страха.

Я ничего не промолвил... Но она тихо обернулась ко мне...

И я все-таки не увидал ее глаз. Они были закрыты.

Лицо ее было белое... белое, как ее одежда; обнаженные руки висели

недвижно. Она вся словно окаменела; всем телом своим, каждой чертою лица своего эта женщина походила на мраморную статую.

Медленно, не сгибаясь ни одним членом, отклонилась она назад и опустилась на ту плоскую плиту.

И вот уже я лежу с ней рядом, лежу на спине, вытянутый весь, как надгробное изваяние, руки мои сложены молитвенно на груди, и чувствую я, что окаменел я тоже.

Прошло несколько мгновений... Женщина вдруг приподнялась и пошла прочь. Я хотел броситься за нею, но я не мог пошевелиться, не мог разжать сложенных рук и только глядел ей вслед, с тоской несказанной.

Тогда она внезапно обернулась и я увидел светлые, лучистые глаза на живом подвижном лице. Она устремила их на меня и засмеялась одними устами... без звука. Встань, мол, и приди ко мне!

Но я всё не мог пошевелиться.

Тогда она засмеялась еще раз и быстро удалилась, весело покачивая головою, на которой вдруг ярко заалел венок из маленьких роз.

А я остался неподвижен и нем на могильной моей плите.

Мне жаль самого себя, других, всех людей, зверей, птиц... всего живущего.

Мне жаль детей и стариков, несчастных и счастливых... счастливых более, чем несчастных.

Мне жаль победоносных, торжествующих вождей, великих художников, мыслителей, поэтов...

Мне жаль убийцы и его жертвы, безобразия и красоты, притесненных и притеснителей.

Как мне освободиться от этой жалости? Она мне жить не дает... Она да вот еще скука.

О скука, скука, вся растворенная жалостью! Ниже спуститься человеку нельзя.

Уж лучше бы я завидовал... право!

Да я и завидую камням.

Я читал байроновского Манфреда...

Когда я дошел до того места, где дух женщины, погубленной Манфредом, произносит над ним свое таинственное заклинание, я ощутил некоторый трепет.

Помните: Да будут без сна твои ночи, да вечно ощущает твоя злая душа мое незримое неотвязное присутствие, да станет она своим собственным адом...

Но тут мне вспомнилось иное... Однажды, в России, я был свидетелем ожесточенной распри между двумя крестьянами, отцом и сыном.

Сын кончил тем, что нанес отцу нестерпимое оскорбление.

Прокляни его, Васильич, прокляни окаянного! закричала жена старика. Изволь, Петровна, отвечал старик глухим голосом и широко перекрестился: Пускай же и он дождется сына, который на глазах своей матери плюнет отцу в его седую бороду!

Сын раскрыл было рот, да пошатнулся на ногах, позеленел в лице и вышел вон.

Это проклятие показалось мне ужаснее манфредовского.

Я видел спор двух близнецов. Как две капли воды походили они друг на друга всем: чертами лица, их выражением, цветом волос, ростом, складом тела и ненавидели друг друга непримиримо.

Они одинаково корчились от ярости. Одинаково пылали близко друг на дружку надвинутые, до странности схожие лица; одинаково сверкали и грозились схожие глаза; те же самые бранные слова, произнесенные одинаковым голосом, вырывались из одинаково искривленных губ.

Я не выдержал, взял одного за руку, подвел его к зеркалу и сказал ему: Бранись уж лучше тут, перед этим зеркалом... Для тебя не будет никакой разницы... но мне-то не так будет жутко.

Я лежал на постели но мне не спалось. Забота грызла меня; тяжелые, утомительно однообразные думы медленно проходили в уме моем, подобно сплошной цепи туманных облаков, безостановочно ползущих в ненастный день, по вершинам сырых холмов.

Ах! я любил тогда безнадежной, горестной любовью, какою можно любить лишь под снегом и холодом годов, когда сердце, не затронутое жизнью, осталось... не молодым! нет... но ненужно и напрасно моложавым.

Белесоватым пятном стоял передо мною призрак окна; все предметы в комнате смутно виднелись: они казались еще неподвижнее и тише в дымчатом полусвете раннего летнего утра. Я посмотрел на часы: было без четверти три часа. И за стенами дома чувствовалась та же неподвижность... И роса, целое море росы!

А в этой росе, в саду, под самым моим окном уже пел, свистал, тюрюлюкал немолчно, громко, самоуверенно черный дрозд. Переливчатые звуки проникали в мою затихшую комнату, наполняли ее всю, наполняли мой слух, мою голову, отягченную сухостью бессонницы, горечью болезненных дум. Они дышали вечностью, эти звуки всею свежестью, всем равнодушием, всею силою вечности. Голос самой природы слышался мне в них, тот красивый, бессознательный голос, который никогда не начинался и не кончился никогда.

Он пел, он распевал самоуверенно, этот черный дрозд; он знал, что скоро,

обычной чередой, блеснет неизменное солнце; в его песни не было ничего своего, личного; он был тот же самый черный дрозд, который тысячу лет тому назад приветствовал то же самое солнце и будет его приветствовать через другие тысячи лет, когда то, что останется от меня, быть может, будет вертеться незримыми пылинками вокруг его живого звонкого тела, в воздушной струе, потрясенной его пением.

И я, бедный, смешной, влюбленный, личный человек, говорю тебе: спасибо, маленькая птица, спасибо твоей сильной и вольной песенке, так неожиданно зазвеневшей под моим окном в тот невеселый час.

Она не утешила меня да я и не искал утешения... Но глаза мои омочились слезами, и шевельнулось в груди, приподнялось на миг недвижимое, мертвое бремя. Ах! и то существо не так же ли оно молодо и свежо, как твои ликующие звуки, передрагсвавший певец!

Да и стоит ли горевать, и томиться, и думать о самом себе, когда уже кругом, со всех сторон разлиты те холодные волны, которые не сегодня завтра увлекут меня в безбрежный океан?

Слезы лились... а мой милый черный дрозд продолжал, как ни в чем не бывало, свою безучастную, свою счастливую, свою вечную песнь!

О, какие слезы на разгоревшихся щеках моих осветило взошедшее наконец солнце!

Но днем я улыбался по-прежнему.

Опять я лежу в постели... опять мне не спится. То же летнее раннее утро охватывает меня со всех сторон; и опять под окном моим поет черный дрозд и в сердце горит та же рана.

Но не приносит мне облегчения песенка птицы и не думаю я о моей ране.

Меня терзают другие, бесчисленные, зияющие раны; из них багровыми потоками льется родная, дорогая кровь, льется бесполезно, бессмысленно, как дождевые воды с высоких крыш на грязь и мерзость улицы.

Тысячи моих братьев, собратов гибнут теперь там, вдали, под неприступными стенами крепостей; тысячи братьев, брошенных в разверстую пасть смерти неумелыми вождями.

Они гибнут без ропота; их губят без раскаяния; они о себе не жалеют; не жалеют о них и те неумелые вожди.

Ни правых тут нет, ни виноватых: то молотилка треплет снопы колосьев, пустых ли, с зерном ли покажет время.

Что же значат мои раны? Что значат мои страдания? Я не смею даже плакать.

Но голова горит и душа замирает и я, как преступник, прячу голову в постылые подушки.

Горячие, тяжелые капли пробираются, скользят по моим щекам... скользят мне на губы... Что это? Слезы... или кровь?

Куда мне деться? Что предпринять? Я как одинокая птица без гнезда... Наохлившись, сидит она на голой, сухой ветке. Остаться тошно... а куда полететь?

И вот она расправляет свои крылья и бросается вдаль стремительно и прямо, как голубь, вспугнутый ястребом. Не откроется ли где зеленый, уютный уголок, нельзя ли будет свить где-нибудь хоть временное гнездышко?

Птица летит, летит и внимательно глядит вниз.

Под нею желтая пустыня, безмолвная, недвижимая, мертвая.

Птица спешит, перелетает пустыню и всё глядит вниз, внимательно и тоскливо.

Под нею море, желтое, мертвое, как пустыня. Правда, оно шумит и движется но в нескончаемом грохоте, в однообразном колебании его валов тоже нет жизни и тоже негде приютиться.

Устала бедная птица... Слабеет взмах ее крыл; ныряет ее полет. Взвилась бы она к небу... но не свить же гнезда в той бездонной пустоте!..

Она сложила наконец крылья... и с протяжным стоном пала в море.

Волна ее поглотила... и покатилась вперед, по-прежнему бессмысленно шумя.

Куда же деться мне? И не пора ли и мне упасть в море?

Мне смешно... и я дивлюсь на самого себя.

Непритворна моя грусть, мне действительно тяжело жить, горестны и безотрадны мои чувства. И между тем я стараюсь придать им блеск и красоту, я ищу образов и сравнений; я округляю мою речь, тешусь звоном и созвучием слов.

Я, как ваятель, как золотых дел мастер, старательно леплю и вырезаю и всячески украшаю тот кубок, в котором я сам же подношу себе отраву.

Она протянула мне свою нежную, бледную руку... а я с суровой грубостью оттолкнул ее.

Недоумение выразилось на молодом, милом лице; молодые добрые глаза глядят на меня с укором; не понимает меня молодая, чистая душа.

Какая моя вина? шепчут ее губы.

Твоя вина? Самый светлый ангел в самой лучезарной глубине небес скорее может провиниться, нежели ты.

И все-таки велика твоя вина передо мною.

Хочешь ты ее узнать, эту тяжкую вину, которую ты не можешь понять,

которую я растолковать тебе не в силах?

Вот она: ты молодость; я старость.

Хочешь быть спокойным? Знайся с людьми, но живи один, не предпринимай ничего и не жалея ни о чем.

Хочешь быть счастливым? Выучись сперва страдать.

Я видел перерубленного гада.

Облитый сукровицей и слизью собственных извержений, он еще корчился и, судорожно поднимая голову, выставял жало... он грозил еще... грозил бессильно.

Я прочел фельетон опозоренного писаки.

Захлебываясь собственной слюной, вываленный в гное собственных мерзостей, он тоже корчился и кривлялся... Он упоминал о барьере, он предлагал поединком омыть свою честь... свою честь!!!

Я вспомнил о том перерубленном гаде с его бессильным жалом.

Писатель сидел у себя в комнате за рабочим столом. Вдруг входит к нему критик.

Как! воскликнул он, вы всё еще продолжаете строчить, сочинять, после всего, что я написал против вас? после всех тех больших статей, фельетонов, заметок, корреспонденций, в которых я доказал как дважды два четыре, что у вас нет да и не было никогда никакого таланта, что вы позабыли даже родной язык, что вы всегда отличались невежеством, а теперь совсем выдохлись, устарили, превратились в тряпку?

Сочинитель спокойно обратился к критику.

Вы написали против меня множество статей и фельетонов, отвечал он, это несомненно; но известна ли вам басня о лисе и кошке? У лисы много было хитростей а она все-таки попалась; у кошки была только одна: взлезть на дерево... и собаки ее не достали. Так и я: в ответ на все ваши статьи я вывел вас целиком в одной только книге; надел на вашу разумную голову шутовской колпак и будете вы в нем щеголять перед потомством.

Перед потомством! расхохотался критик, как будто ваши книги дойдут до потомства?! Лет через сорок, много пятьдесят их никто и читать не будет.

Я с вами согласен, отвечал писатель, но с меня и этого довольно. Гомер пустил на вечные времена своего Ферсита; а для вашего брата и полвека за глаза. Вы не заслуживаете даже шутовского бессмертия. Прощайте, господин... Прикажете назвать вас по имени? Едва ли это нужно... все произнесут его и без меня.

Спорь с человеком умнее тебя: он тебя победит... но из самого твоего поражения ты можешь извлечь пользу для себя.

Спорь с человеком ума равного: за кем бы ни осталась победа ты по крайней мере испытаешь удовольствие борьбы.

Спорь с человеком ума слабейшего... спорь не из желания победы; но ты можешь быть ему полезным.

Спорь даже с глупцом; ни славы, ни выгоды ты не добудешь; но отчего иногда и не позабавиться?

Не спорь только с Владимиром Стасовым!

О моя молодость! о моя свежесть! восклицал и я когда-то.

Но когда я произносил это восклицание я сам еще был молод и свеж.

Мне просто хотелось тогда побаловать самого себя грустным чувством пожалеть о себе въявь, порадоваться втайне.

Теперь я молчу и не сокрушаюсь вслух о тех утратах... Они и так грызут меня постоянно, глухою грызью.

Эх! лучше не думать! уверяют мужики.

То не ласточка щебетунья, не резвая касаточка тонким крепким клювом себе в твердой скале гнездышко выдолбила...

То с чужой жестокой семьей ты понемногу сжилась да освоилась, моя терпеливая умница!

Я шел среди высоких гор,

Вдоль светлых рек и по долинам...

И всё, что ни встречал мой взор,

Мне говорило об едином:

Я был любим! любим я был!

Я всё другое позабыл!

Сияло небо надо мной,

Шумели листья, птицы пели...

И тучки резвой чередой

Куда-то весело летели...

Дышало счастьем всё кругом,

Но сердце не нуждалось в нем.

Меня несла, несла волна,

Широкая, как волны моря!

В душе стояла тишина

Превыше радости и горя...

Едва себя я сознавал:

Мне целый мир принадлежал!

Зачем не умер я тогда?

Зачем потом мы оба жили?
Пришли года... прошли года
И ничего не подарили,
Что б было слаще и ясней
Тех глупых и блаженных дней.

Когда меня не будет, когда всё, что было мною, рассыплется прахом, о ты, мой единственный друг, о ты, которую я любил так глубоко и так нежно, ты, которая наверно переживешь меня, не ходи на мою могилу... Тебе там делать нечего.

Не забывай меня... но и не вспоминай обо мне среди ежедневных забот, удовольствий и нужд... Я не хочу мешать твоей жизни, не хочу затруднять ее спокойное течение.

Но в часы уединения, когда найдет на тебя та застенчивая и беспричинная грусть, столь знакомая добрым сердцам, возьми одну из наших любимых книг и отыщи в ней те страницы, те строки, те слова, от которых, бывало, помнишь? у нас обоих разом выступали сладкие и безмолвные слезы.

Прочти, закрой глаза и протяни мне руку... Отсутствующему другу протяни руку твою.

Я не буду в состоянии пожать ее моей рукой она будет лежать неподвижно под землею... но мне теперь отрадно думать, что, быть может, ты на твоей руке почувствуешь легкое прикосновение.

И образ мой предстанет тебе и из-под закрытых век твоих глаз польются слезы, подобные тем слезам, которые мы, умиленные Красотою, проливали некогда с тобою вдвоем, о ты, мой единственный друг, о ты, которую я любил так глубоко и так нежно!

День за днем уходит без следа, однообразно и быстро.

Страшно скоро помчалась жизнь, скоро и без шума, как речное стремя перед водопадом.

Сыплется она ровно и гладко, как песок в тех часах, которые держит в костлявой руке фигура Смерти.

Когда я лежу в постели и мрак облегает меня со всех сторон мне постоянно чудится этот слабый и непрерывный шелест утекающей жизни.

Мне не жаль ее, не жаль того, что я мог бы еще сделать... Мне жутко.

Мне сдается: стоит возле моей кровати та неподвижная фигура... В одной руке песочные часы, другую она занесла над моим сердцем...

И вздрагивает и толкается в грудь мое сердце, как бы спеша достучать свои последние удары.

Я встал ночью с постели... Мне показалось, что кто-то позвал меня по имени... там, за темным окном.

Я прижался лицом к стеклу, приник ухом, вперил взоры и начал ждать.

Но там, за окном, только деревья шумели однообразно и смутно, и сплошные, дымчатые тучи, хоть и двигались и менялись беспрестанно, оставались всё те же да те же...

Ни звезды на небе, ни огонька на земле.

Скучно и томно там... как и здесь, в моем сердце.

Но вдруг где-то вдали возник жалобный звук и, постепенно усиливаясь и приближаясь, зазвенел человеческим голосом и, понижаясь и замирая, промчался мимо.

Прощай! прощай! прощай! чудилось мне в его замираниях.

Ах! Это всё мое прошедшее, всё мое счастье, всё, всё, что я лелеял и любил, навсегда и безвозвратно прощалось со мною!

Я поклонился моей улетевшей жизни и лег в постель, как в могилу.

Ах, кабы в могилу!

Когда я один, совсем и долго один мне вдруг начинает чудиться, что кто-то другой находится в той же комнате, сидит со мною рядом или стоит за моей спиной.

Когда я оборачиваюсь или внезапно устремляю глаза туда, где мне чудится тот человек, я, разумеется, никого не вижу. Самое ощущение его близости исчезает... но через несколько мгновений оно возвращается снова.

Иногда я возьму голову в обе руки и начинаю думать о нем.

Кто он? Что он? Он мне не чужой... он меня знает, и я знаю его... Он мне как будто сродни... и между нами бездна.

Ни звука, ни слова я от него не жду... Он так же нем, как и недвижим... И, однако, он говорит мне... говорит что-то неясное, непонятное и знакомое. Он знает все мои тайны.

Я его не боюсь... но мне неловко с ним и не хотелось бы иметь такого свидетеля моей внутренней жизни... И со всем тем отдельного, чужого существования я в нем не ощущаю.

Уж не мой ли ты двойник? Не мое ли прошедшее я? Да и точно: разве между тем человеком, каким я себя помню, и теперешним мною не целая бездна?

Но он приходит не по моему велению словно у него своя воля.

Невесело, брат, ни тебе, ни мне в постылой тишине одиночества!

А вот погоди... Когда я умру, мы сольемся с тобою мое прежнее, мое теперешнее я и умчимся навек в область невозвратных теней.

Все чувства могут привести к любви, к страсти, все: ненависть, сожаление, равнодушие, благоговение, дружба, страх, даже презрение.

Да, все чувства... исключая одного: благодарности.

Благодарность долг; всякий честный человек платит свои долги... но любовь не деньги.

Я боюсь, я избегаю фразы; но страх фразы тоже претензия.

Так, между этими двумя иностранными словами, между претензией и фразой, так и катится и колеблется наша сложная жизнь.

Простота! простота! Тебя зовут святою... Но святость не человеческое дело. Смирение вот это так. Оно попирает, оно побеждает гордыню. Но не забывай: в самом чувстве победы есть уже своя гордыня.

Брамин твердит слово Ом!, глядя на свой пупок, и тем самым близится к божеству. Но есть ли во всем человеческом теле что-либо менее божественное, что-либо более напоминающее связь с человеческой бренностью, чем именно этот пупок?

Ты заплакал о моем горе; и я заплакал из сочувствия к твоей жалости обо мне. Но ведь и ты заплакал о своем горе; только ты увидал его во мне.

Все говорят: любовь самое высокое, самое неземное чувство. Чужое я внедрилось в твое: ты расширен и ты нарушен; ты только теперь зажил? и твое я умерщвлено. Но человека с плотью и кровью возмущает даже такая смерть... Воскресают одни бессмертные боги...

Почему вы так дорожите бессмертием души? спросил я.

Почему? Потому что я буду тогда обладать Истиной вечной, несомненной... А в этом, по моему понятию, и состоит высочайшее блаженство!

В обладании Истиной?

Конечно.

Позвольте; в состоянии ли вы представить себе следующую сцену? Собралось несколько молодых людей, толкуют между собою... И вдруг вбегает один их товарищ: глаза его блестят необычайным блеском, он задыхается от восторга, едва может говорить. Что такое? Что такое? Друзья мои, послушайте, что я узнал, какую истину! Угол падения равен углу отражения! Или вот еще: между двумя точками самый краткий путь прямая линия! Неужели! о, какое блаженство! кричат все молодые люди, с умилением бросаются друг другу в объятия! Вы не в состоянии себе представить подобную сцену? Вы смеетесь... В том-то и дело: Истина не может доставить блаженства... Вот Правда может. Это человеческое, наше земное дело... Правда и Справедливость! За Правду и умереть согласен. На знании Истины вся жизнь построена; но как это обладать ею? Да еще находить в этом блаженство?

Лежа в постели, томимый продолжительным и безысходным недугом, я подумал: чем я это заслужил? за что наказан я? я, именно я? Это несправедливо, несправедливо!

И пришло мне в голову следующее...

Целая семейка молодых куропаток штук двадцать столпилась в густом жнивье. Они жмутся друг к дружке, роются в рыхлой земле, счастливы. Вдруг их испугивает собака они дружно, разом взлетают; раздаётся выстрел и одна из куропаток, с подбитым крылом, вся израненная, падает и, с трудом волоча лапки, забивается в куст полыни.

Пока собака ее ищет, несчастная куропатка, может быть, тоже думает: Нас было двадцать таких же, как я... Почему же именно я, я попала под выстрел и должна умереть? Почему? Чем я это заслужила перед остальными моими сестрами? Это несправедливо!

Лежи, больное существо, пока смерть тебя сыщет.

Голубое небо, как пух легкие облака, запах цветов, сладкие звуки молодого голоса, лучезарная красота великих творений искусства, улыбка счастья на прелестном женском лице и эти волшебные глаза... к чему, к чему всё это? Ложка скверного, бесполезного лекарства через каждые два часа вот, вот что нужно.

Нет большей скорби (итал.).

Что значат эти стоны?

Я страдаю, страдаю сильно.

Слыхал ли ты плеск ручья, когда он толкается о камень?

Слыхал... но к чему этот вопрос?

А к тому, что этот плеск и стоны твои те же звуки, и больше ничего. Только разве вот что: плеск ручья может порадовать иной слух, а стоны твои никого не разжалобят. Ты не удерживай их, но помни: это всё звуки, звуки, как скрип надломленного дерева... звуки и больше ничего.

Я проживал тогда в Швейцарии... Я был очень молод, очень самолюбив и очень одинок. Мне жилось тяжело и невесело. Еще ничего не изведав, я уже скучал, унывал и злился. Всё на земле мне казалось ничтожным и пошлым, и, как это часто случается с очень молодыми людьми, я с тайным злорадством лелеял мысль... о самоубийстве. Докажу... отомщу... думалось мне... Но что доказать? За что мстить? Этого я сам не знал. Во мне просто кровь бродила, как вино в закупоренном сосуде... а мне казалось, что надо дать этому вину вылиться наружу и что пора разбить стесняющий сосуд... Байрон был моим идолом, Манфред моим героем.

Однажды вечером я, как Манфред, решил отправиться туда, на темя гор,

превыше ледников, далеко от людей, туда, где нет даже растительной жизни, где громоздятся одни мертвые скалы, где застывает всякий звук, где не слышен даже рев водопадов!

Что я намерен был там делать... я не знал... Быть может, покончить с собою?! Я отправился...

Шел я долго, сперва по дороге, потом по тропинке, всё выше поднимался... всё выше. Я уже давно миновал последние домики, последние деревья... Камни одни камни кругом, резким холодом дышит на меня близкий, но уже невидимый снег, со всех сторон черными клубами надвигаются ночные тени. Я остановился наконец.

Какая страшная тишина!

Это царство Смерти.

И я здесь один, один живой человек, со всем своим надменным горем, и отчаяньем, и презреньем... Живой, сознательный человек, ушедший от жизни и не желающий жить. Тайный ужас леденил меня но я воображал себя великим!..

Манфред да и полно!

Один! Я один! повторял я, один лицом к лицу со смертью! Уж не пора ли? Да... пора. Прощай, ничтожный мир! Я отталкиваю тебя ногою!

И вдруг в этот самый миг долетел до меня странный, не сразу мною понятый, но живой... человеческий звук... Я вздрогнул, прислушался... звук повторился... Да это... это крик младенца, грудного ребенка!.. В этой пустынной, дикой выси, где всякая жизнь, казалось, давно и навсегда замерла, крик младенца?!!

Изумление мое внезапно сменилось другим чувством, чувством задыхающейся радости... И я побежал стремглав, не разбирая дороги, прямо на этот крик, на этот слабый, жалкий и спасительный крик!

Вскоре мелькнул предо мною трепетный огонек. Я побежал еще скорее и через несколько мгновений увидел низкую хижинку. Сложенные из камней, с придавленными плоскими крышами, такие хижины служат по целым неделям убежищем для альпийских пастухов.

Я толкнул полураскрытую дверь и так и ворвался в хижину, словно смерть по пятам гналась за мною...

Прикорнув на скамейке, молодая женщина кормила грудью ребенка... пастух, вероятно ее муж, сидел с нею рядом.

Они оба уставились на меня... но я ничего не мог промолвить... я только улыбался и кивал головою...

Байрон, Манфред, мечты о самоубийстве, моя гордость и мое величье, куда вы все делись?..

Младенец продолжал кричать и я благословлял и его, и мать его, и ее мужа...

О горячий крик человеческой, только что народившейся жизни, ты меня спас, ты меня вылечил!

Я получил письмо от бывшего университетского товарища, богатого помещика, аристократа. Он звал меня к себе в имение.

Я знал, что он давно болен, ослеп, разбит параличом, едва ходит... Я поехал к нему.

Я застал его в одной из аллей его обширного парка. Закутанный в шубе а дело было летом, чахлый, скрюченный, с зелеными зонтами над глазами, он сидел в небольшой колясочке, которую сзади толкали два лакея в богатых ливреях... Приветствую вас, промолвил он могильным голосом, на моей наследственной земле, под сенью моих вековых деревьев!

Над его головою шатром раскинулся могучий тысячелетний дуб.

И я подумал: О тысячелетний исполин, слышишь? Полумертвый червяк, ползающий у корней твоих, называет тебя своим деревом!

Но вот ветерок набежал волною и промчался легким шорохом по сплошной листве исполина... И мне показалось, что старый дуб отвечал добродушным и тихим смехом и на мою думу и на похвальбу больного.